

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ

СИБИРИАДА

ВОЛЬНЫЕ
КОНИ



Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Александр Семенов

Вольные кони

«ВЕЧЕ»

2018

Семенов А. М.

Вольные кони / А. М. Семенов — «ВЕЧЕ», 2018 — (Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-7766-9

Повести и рассказы известного иркутского писателя Александра Семенова затрагивают такие важные темы, как нравственное понимание мира, гуманизм, обретение веры, любовь к Родине. В образах его героев видны духовная крепость простого народа, его самобытность, стойкость и мужество в периоды испытаний. По словам Валентина Распутина, «настоящая русская литература, кормилица правды и надежды, не собирается сдавать своих позиций и отходить в сторону. Произведения Александра Семенова еще одно тому доказательство. Как словом, так и позицией верного и талантливое сына своего многострадального Отечества».

ISBN 978-5-4484-7766-9

© Семенов А. М., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Повести	5
К маме	5
Глава 1	5
Глава 2	6
Глава 3	9
Глава 4	13
Глава 5	20
Глава 6	23
Глава 7	30
Глава 8	32
Глава 9	35
Глава 10	39
Глава 11	43
Глава 12	44
Глава 13	46
Глава 14	54
Кара небесная	56
Глава 1	56
Глава 2	60
Глава 3	70
Глава 4	74
Глава 5	81
Глава 6	85
Глава 7	91
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Александр Семенов

Вольные кони

Повести

К маме

*Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.*

А. Блок

Глава 1

Домой ехал Ваня. Долгими муками преодолевая вновь обретенные им печальные пространства. Из края в край проезжая всю свою обескровленную страну. А вернее сказать, возвращался с того света. К этому сызнова привыкая, как всякий переступавший незримо кем отведенную межу, за которой ни боли, ни холода, ни страха. И не то диво, что побывал за чертой, а то, что обратно выбрался.

В медсанбате дежурный хирург, наложив последний шов на истерзанное тело, ненадолго задержался у операционного стола. Наклонился над Ваней, пристально всмотрелся в заострившееся, еще залитое смертной бледностью лицо. Ошеломленно покачав головой, пошел было из палаты, но с полпути вернулся и еще раз глянул, глазам своим не веря. Нет, не показалось: таяли на восковом лице чернильные тени – отметины небытия. А ведь три часа назад уповать можно было лишь на чудо – с такими ранениями не выживают.

Военврач осознавал это с той самой минуты, как взял в руки скальпель – и время в операционной остановилось. Еще звучал торопливый доклад: «...комбинированное, множественное, огнестрельное осколочное ранение... слепое проникающее живота...», а он уже начал привычную работу. Резал, зажимал, сшивал. Теряя всякую надежду, хриплым голосом кричал: «Нет пульса, разряд, еще разряд!» И вовсе отчаявшись, одними глазами умолял и приказывал: живи, ну, живи же, воин! Но и когда задрожала, проявилась на экране ниточка неровного пульса, не вдруг поверил, что смог вытащить парня из заповедья.

Никогда прежде не вглядывался он в лица раненых – запоминал лишь их медицинские истории. Но этот боец, вернувшийся ниоткуда, опрокинул его прежние представления о силе жизни, да и смерти тоже. Опустошенный тяжелой операцией, хирург шагнул за порог палаты, потянул дрожащими пальцами из мятой пачки сигарету. Подкурил от заботливо поднесенного кем-то из санитаров трепещущего огонька, короткими жадными затяжками сжег табак и только после этого тихо высказался: «Теперь выкарабкается десантник, мама его в рубашке родила...» Врач сделал все, что мог, и теперь только от самого раненого зависело – жить ему или нет.

Между небом и землей подвешенный, Ваня тогда слова хирурга о своем спасении слышать не мог. Да и когда пришел в сознание, вряд ли с его таким странным пояснением согласился. Он войну даже не прошел, а прожил, и теперь мыслил и действовал по-иному – проще, четче, грубее, приземленнее, а значит, правильнее. Позже, в палате, весь еще болью спелёнутый, выломившись из наркоза, как птенец из скорлупы, он по-своему попытался объяснить свое редкостное везение. Невероятный шанс выпал ему – Ваня поискал и нашел подходящее сравнение – ну, как если бы зацепил ногой растяжку на тропе, да прежде споткнулся, пал ниц,

а уж потом изъятые взрывом осколки измеси́ли над ним воздух. Затвердил в себе это и после не пытался поколебать свою уверенность даже малейшим сомнением, потому как слова хирурга еще дальше от его разума лежали.

На самом же деле его чудесное воскрешение никак нельзя было объяснить одним слепым везением. Но о том лучше помалкивать. В горах непосвященным в войну многое могло странным показаться, что рассудок не объяснит, а лишь одно сердечное чувство выразит. Ваня на госпитальной койке об этом немало размышлял, соотнося жизнь и смерть отдельных людей и свою тоже, пытаясь сложить разрозненное в одно целое, да это все равно что собирать разбросанное взрывом. Никак не укладывалось в контуженой голове, что самое страшное, что только можно себе вообразить, случилось именно с ним и его товарищами.

Там, на войне, даже в часы отдыха для подобных раздумий Ваня времени не оставлял. Немного повоевав, он быстро усвоил, что отвлеченные мысли делают бойцов слабыми и уязвимыми, – задумчивых поперед других выбивала пуля снайпера или взрыв фугаса. Не давал себе лабину, даже имея на то полное право.

Когда же очистилось помутненное сознание для истинного понимания и сам он чуток окреп, приказал себе Ваня и в мыслях не прикасаться к тайне своего возвращения на белый свет. Как его вытащили с поля боя, кто – на лопастях вертолета, ангельских ли крыльях – стало вдруг неважным. Главное – жив. И тем все сказано. В этот пронзительный миг нащупал Ваня ватными пальцами на груди серебряный крестик, мысленно перекрестился – рука от слабости едва приподнималась, – и тут же пришла ясная мысль, будто извне ему кем-то подсказанная: значит, был в том промысел Божий, а спасен он еще для какой-то неведомо важной работы, важнее самой войны. С тем и оживать начал.

Глава 2

В военном госпитале, куда его доставил санитарный борт, Ваня очнулся ночью. Слабо мерцала лампочка. Несмолкаемый шелестящий шум наплывал со всех сторон. Преодолевая тошноту, он прошептал пересохшими губами: «Пить...». И не услышал себя. Палата тяжело дышала, стонала и бредила. Он вновь стал проваливаться в забытие, но тут же открыл глаза от легкого и прохладного прикосновения ко лбу. Над ним склонился тощий паренек и осторожными движениями стирал ватным тампоном пот с лица. Затем просунул руку под шею, приподнял свинцовую голову и дал глотнуть из кружки воды. Ваня жадно хлебнул, потянулся губами еще, но услышал: «Нельзя больше». Паренек неслышно отступил, растворился в полутьме палаты. Был ли, не был.

Но через несколько суток Ваня стал узнавать его тонкое исхудалое лицо в конопушках. Солдатик в застиранном халате возникал у кровати всякий раз, как острый приступ боли выдавливал из него глухой стон. Поил, кормил с ложки, поправлял постель, убирал «утку».

– Санитар, повязку бы сменить, промокла вся насквозь, – позвал как-то его Ваня, увидев, что паренек стоит без дела и смотрит в окно.

– Сейчас скажу медсестре, – в ту же минуту оказался он рядом и с неуверенной улыбкой добавил: – Не санитар я, тоже тут в раненых числюсь.

– Не понял, почему же ты тогда ухаживаешь за мною? – слабо удивился Ваня.

– Так мне же не трудно, а санитарку всякий раз не дозваться, – смущенно ответил паренек и пошел к выходу.

– Назад, боец, – приказал Ваня, – докладывай, кто тебя определил ко мне в службу.

– Я и говорю – никто. Сам вызвался. Да и ранение у меня не тяжелое, так, зацепило маленько. Скоро уже выпишут.

Ваня молча смотрел на робкого и затурканного службой солдатика, безропотно откликнувшегося на просьбу каждого страдальца из палаты тяжелораненых. И не находил в его гла-

зах ни затравленности, ни покорности, столь обычных у малодушных, потерявших на войне людей, всегда готовых услужить более сильному. И непонятно отчего начинал сердиться, но не на него, а на себя. Позже он отыщет причину своего недовольства: разучился принимать сострадание.

– Ну, не могу я видеть, как другие мучаются, свою боль куда легче переносить, – первым не выдержал молчания паренек.

– Откуда же ты такой взялся? – выдохнул Ваня.

– Вятский я, Николаем зовут, – ломким баском ответил тот, – ну, так я пойду в перевязочную...

У Вани сердце занялось. Сначала он подумал, оттого, что давно так о нем никто не заботился. Но потом понял, что этот простой вятский паренек неприметно делает такую работу, на которую не способен никто из этих гогочущих, готовящихся на выписку бойцов. Выздоровев, они быстро забывали, что еще совсем недавно беспомощно корчились от болей. Волчьи нравы распространялись и на дом милосердия – я настрадался: испытай теперь страдание ты. Сквозь пелену от лекарственных препаратов мыслям пробиваться было тяжело. Но Ваня все же додумал, что, наверное, во всякую войну находились такие вот сердобольные люди, забывающие о своих мучениях, когда рядом кому-то хуже и страшнее.

Позднее, когда вовсе пришел в себя, от сослуживцев Николая узнал, что тот отличился в первом же бою, награжден медалью «За отвагу», но скрывает от всех свою награду. Каждый вечер теперь Ваня звал его к себе в дальний угол палаты уж без всякого дела. Тот охотно откликался, подвигал табурет к койке и часами мог говорить о своей деревне. И каждый раз увлекал Ваню рассказами, казалось бы, непримечательной деревенской жизни. Обычно Николай начинал разговор смущенно и медленно, но, увлекшись, быстро распалялся. Бывало, уже вся палата выздоравливающих покатывалась от изображенной им в словах и жестах очередной истории. А он будто одного Ваню видел, для одного его старался.

Ваня и запомнил бы Николая легкой памятью, как многих других встреченных им на войне, если бы не удивление – этот парень не знал своей крепости. В бою, где мотострелковая рота попала в огненный мешок, Николай не только умудрился выжить сам, отражая атаку боевиков, но и вытащил из-под обстрела двух раненых бойцов.

В один из вечеров Ваня с трудом подвинул его на этот разговор. Несколько раз подступался к нему с расспросами, но каждый раз тот уходил от них.

– Не бросать же было ребят, там под пулями дорога прямо кипела, – за минуту обсказав весь бой, закончил Коля. – Рядовое дело.

– Смерть тоже дело рядовое, – задумчиво проговорил Ваня, представив скоротечность и гибельность схватки. И, прикинув, как бы он сам действовал в этой ситуации, твердо сказал: – Ты, Коля, – боец.

– Какой же я боец, я там сробел, – взволнованным шепотом сообщил он ему на самое ухо.

– Робеть, Коля, не бояться. Ты вот сразу «За отвагу» и наробел, – улыбнулся Ваня.

– За что дали, не знаю даже, по ошибке, наверное, – шепотом признался Николай. – Нет, не боец я, видать, не уродился им. Умереть вот боюсь...

– Страшно не умереть, а умирать, – каким-то чужим и старческим голосом сказал Ваня, каким мог сказать спустя много-много лет, но никак не сейчас, и уж никак не своему ровеснику. Но еще более странным было то, что он как бы имел на это право. – А страх, Коля, на войне при себе держи. Он тебе выжить поможет. И запомни, что тряпкой человека не страх, а трусость делает. Впустишь ее в себя, считай, пропал. Она в тебе все сотрет, станешь от каждого бородатого шарахаться. На войне, как и в жизни, страхов много, смерть одна.

– Вот вы, товарищ сержант, настоящий воин, через пекло прошли и выжили, – перебил Николай. – Я бы не сумел...

– Ошибаешься, – отчетливо сказал Ваня, – ты, Коля, крепче многих из нас будешь. Только сам своей силы пока не знаешь. Храбрых у нас много, милосердных не хватает.

Палата притихла, но никто из раненых не смог возразить Ване, такая правда прозвучала в его голосе. А ведь кто только из них не помыкал безотказным пареньком.

– Я тебе скажу, а ты мне поверь на слово. Если бы среди нас было больше таких, как ты, мы бы и воевали и жили иначе, – договорил Ваня ослабевшим голосом. Не много сказал, а все силы израсходовал.

Вскоре Николая выписали, и он уехал довоевывать свою войну. Госпиталь за полгода еще не раз наполнялся под завязку, приходили и уходили ребята, но такого, как Коля, он больше не встретил. Поставил в выстроенный в своей памяти небольшой строй, где без ранжира, плечом к плечу стояли живые и мертвые.

Горные вершины отодвигались от Вани все дальше и дальше. Теперь ему казалось, что горы он навеки разлюбил. А ведь в свое время несколько лет занимался в школе альпинизма и прошел сложными маршрутами все Саяны. Грозные на вид кавказские хребты могли устрашать лишь тех, кто не ходил по ним в составе десантно-штурмовых групп. Кто не слышал, как протяжно воют и гулко стонут скалы от грохота боя.

Первое что он сделал, поднявшись на ноги, – доковылял до стены и сорвал висевшую между окнами палаты картинку с красивым горным пейзажем. Он ее, пока был недвижим, глазами расстреливал не одну неделю. Мерещилось, что по всему склону, поросшему желтыми маками, трупы разбросаны. Ваня не раз подобные картины вживую наблюдал, при одном воспоминании дух перехватывало. Но, оказалось, зря расправился с живописной картинкой. На альпийских лугах то ли козы, то ли овцы паслись, причем, австрийские.

Только за Уралом, миновав последний чертов туннель, почувствовал Ваня – ослабла волчья хватка гор. А до того зябко одергивало затылок: все казалось, будто тянется вслед за ним когтистая лапа, зацепить норовит. Темная тень ее время от времени накрывала землю. Только подумал так, что все, не достанет теперь, как прошипело вслед пассажирскому составу: «Ушел так-ки». И почти физически ощутил, как втянулась, убралась лапа обратно в сырой и черный зев хребта. Отлегло в груди, и дальше спокойнее Ване ехалось. Скрежетали колеса, визжали тормозными колодками на крутом спуске, а Ване увереннее становился, знал, что теперь уж точно его горы не заполучат. «Упустили», – напоследок судорожно лязгнуло под днищем вагона, а дальше состав как по маслу покатился.

Стылый воздух замороженных насквозь туннелей в мгновение ока выхолаживал поезд. Оттого Ваня постоянно мерз, кутался в потертое одеяло и забывал радоваться своему счастью. Боли возвращали к невеселой действительности. Там, в горах, он поначалу больше смерти страшился одного лишь плена. Но и с этим страхом справился. Не по летам рано познав, что всему когда-то приходит конец. По-мужски скупко рассудил: не обменяют, так убьют. А раз так, пустое бояться – и то и другое освобождает от мучений.

Знобило Ваню, как бы жарко ни топили проводницы вагон. Кровь не грела – будто всю ее, по капельке, там из него выпили. Ему даже представить было жутко, сколько его крови жадная земля впитала и сколько, сначала в медсанбате, а после в госпитале, выкачали, заменив разной чужой. Поневоле станешь сам не свой.

Всякий раз, как забывал Ваня побережься, колючая боль насквозь прохватывала левый бок, поднималась к горлу. Грыз тогда Ваня уголок подушки, скрючившись под тонким одеялом. Военные врачи, целых полгода латавшие искромсанное осколками тело, сделали все как надо, но в нем все еще что-то срасталось, налаживалось, мучилось. И ныли, нестерпимо ныли раны. Так что приходилось самому себя успокаивать: а у кого они не болят, у одних мертвых разве что.

Ваня только в начале пути искренне полагал, что все его телесные и душевные страдания людям видны как на ладони. Скрывай не скрывай, все равно заметят. Но вскоре понял, что

им невдомек даже то, как тяжело он был ранен. А уж то, что устал насмерть, всего себя без остатка отдав проклятой работе, и вовсе не понять. Замкнулся, спрятался в своей скорлупе. И перестал себя пытаться: почему именно ему эта война досталась, почему он вошел в нее так плотно, точно патрон в ствол. Не сказать, что по злой воле, но и не по доброй, конечно.

Под конец ратной службы Ваня уверовал, что ничего более бедового ему уже не выпадет. С лихвой навоевался. Перед собой и перед боевыми товарищами остался до доньшка честным. Все отдал, чуток даже сверху прибавил. Но оказалось, не все, если потребовалось заплатить самым дорогим.

У Вани, войной надорванного, ни на радость, ни на печаль сил уже не осталось. Разве что на медленное осторожное выживание. Он теперь как немощный старик, греющийся на солнышке, копил, собирал в себе жизненную силу. Сберегал и накапливал весь этот долгий мытарный путь. Боясь самому себе признаться, что может не дотянуть до дома, угаснуть где-нибудь на полдороге. Укреплял себя верой в то, что существует на белом свете высшая справедливость, однажды им испытанная, и не покинет его до окончания пути. Должна же на его долю была еще одна крохотная капля выделена. Большого и просить зазорно – раз всем жизнь такая скудная выпала.

Но прежде Ваня еще одну укрепку познал. В госпитале, вынырнув из мрачного забытья, малодушно воззвал он: «Господи, помоги, избавь от невыносимых мук...» Не получив ответа, провалился в беспмятную пустоту. И еще много раз приходил и уходил. Ни жив ни мертв. И только через много дней, когда на поправку пошел, вдруг осознал, что был ему отклик – иначе ни за что бы не выкарабкался. В тошнотворной кромешной тьме все это время к нему тянулся тонкий светлый лучик. И, как представлялось Ване, по нему струилась нескончаемая живительная сила. Он впитывал ее каждой обескровленной истрадавшейся клеточкой тела, вместе со страстной материнской мольбой и трепетной любовью. Тем и спасался.

Все теперь в его жизни подчинялось одному – доехать до мамы. Но с надорванным болью сердцем, ей одной принадлежавшим, что-то неладное творилось. Казалось, прикипело оно к покинутым окаянными краям, от которых Ваня и рад бы откреститься, да не мог пока. Но в том не вина его была, а беда.

Глава 3

По ночам Ваня маялся от бессонницы, поднимался уже ввечеру, когда пассажиры начинали налаживаться на сон грядущий. Успевал за короткое время, пока накатывала ускоренная движением поезда тьма, вдосталь наглядеться на проплывающие за окном земные просторы. И на светозарный, не стесненный горными пиками небосклон, с белыми облаками, скользкими по его тугому полотну. Будто никогда прежде не видал обнимающего весь мир небесного свода, на глазах наливающегося иссиня-черным, медленно опускающегося на землю, как на прочное дно.

Лишь когда майским жуком припадала к оконному стеклу ночь, окончательно приходил в себя после тяжелого дневного сна. Теперь он по-особому видел и чувствовал всю эту небесную красоту и всякий раз ощущал легкий душевный трепет от мысли, что мог больше и не увидеть. Но редкий попутчик мог догадаться, даже если и высмотрел впотьмах, отчего мелко-мелко дрожит, бьется на впалом виске синяя жилка. Да мало ли отчего может у больного человека волнение приключиться. Стороннему человеку нипочем в ум не взять, разглядывая заспанно бесстрастное, внешне умиротворенное лицо Вани, что в эти минуты пытается он себя сердечными муками. Вновь и вновь размышляя над тем, что неотвязно-неотлучно следовало за ним всю дорогу. Чуждыми для любого и каждого показались бы эти думы, но только не для возвращенного к жизни. Задумывался Ваня: так ли густо заселены небеса, как сплошь усыпана земля костями погибших в неиссякаемых войнах? Так ли просторно обитать на них душам

убиенного воинства, не пересекаются ли пути-дорожки недругов, вытеснивших друг друга с этой просторной земли. И что, может статься, земля наша в действительности есть ад и чистилище, куда ссылают отъявленных грешников. А иначе какой смысл в существовании людей, творящих такое зло. Некого ему было расспросить о том, в небеса устремлялись мысли.

Люд в вагоне перебивал разный, а все повторялось точь-в-точь. Проснется Ваня иль ото-рвется от созерцания пейзажей, проплывающих за окном, коротко ответит на приветствие, окинет взглядом всех разом и будто не увидит никого. О чем бы, как бы ни спросили: вежливо, нахраписто ли, – долго не откликается, как бы раздумывает – а стоит ли вообще отвечать? Вводит тем самым людей в смущение. Наконец, соизволит сказать несколько слов бесцветным голосом, но не впопад и вовсе не то, что полагается. И вновь отвернется к стене или уставится в окно. Иной попутчик не сдержится, пробурчит что-то вроде: ни кожи ни рожи, а туда же, гордый какой! В ответ ни словечка. У любого охотку отобьет общаться с таким недотепой в давно не стиранном тельнике. Самые настойчивые пассажиры с полчаса к нему еще присматриваются, пробуют расшевелить любопытством, да и они вскоре теряют терпение. Махнут на него рукой – едет себе служивый куда-то, ну и пусть едет. Сразу видно, не в себе маленько, да и не удивительно по таким горемычным временам – нынче и не таких бедолаг в армию берут.

Сидит ли солдат за столиком, лежит ли на своей нижней полке, а все в одной неловкой скованной позе. Скособоченный какой-то, лишний раз не пошевелится, и ровно прячет что за пазухой. И ведь только делает вид, что ни на кого не смотрит, сам же все примечает. Подозрительный тип. Вот опять вперился в окно, словно любитесь проплывающими мимо полями да перелесками, да вдруг, будто выцелит что его глаз – сузятся темные зрачки, отвердеют скулы и жестко хищно напряжинуется лицо. От такой резкой перемены не хочешь да вздрогнешь. Но через мгновение сомнение возьмет – не может быть, показалось, наверное? С таким водиться – только жалость будить: худой, вымороченный, потерянный в жизни. Такого встретишь, встрепенешься, пыль отряхнешь с пиджачка, и твоя самая разнесчастная жизнь разлили малиной покажется. Иного пассажира и впрямь жалость пронизет, да и чего ж не пожалеть, если через остановку выходить. Оставит невзначай недопитую бутылку пива или недоеденную пачку печенья – будь здоров, боец, не кашляй.

Молчит Ваня, словечка не проронит. На косые взгляды не обижається, пусть смотрят, за погляд денег не берут. Подачек не принимает. На хулу не откликается. Но на один вопрос непременно и каждому отзовется. Спросит кто «Куда едешь, служивый?», тут же ответит:

– К маме, – и слабая улыбка тронет его обескровленные губы.

Только и всего. Тут же замкнется, будто воды в рот набрал, клещами слова не вытянешь. Редкий попутчик всерьез такой ответ воспримет. Кто опешит, а кто и глуповато посмеется: не мальчик уже, вроде, а все к маме едет. Но тут же отстанут, успокоятся. Уж то хорошо, что не мешает военный, спит день-деньской, лишь поздним вечером поднимется, прошаркает растоптанными армейскими тапочками в конец вагона и обратно – вот и все неудобство от его компании. Да по всему видать, больной он, насквозь едким лекарством пропах. Похоже, в армии повредился, списали его по негодности, а еще скорее – каким малахольным уродился, таким по жизни и пошел. Ни парень, ни мужик. Так, одно недоразумение, тень ходячая. Военная форма имеется, но без эмблем, и в каких войсках служил, не понять, да и служил ли? К маме он добирается, убогий, а поди, проверь. Может так статься, что и в бегах.

Ваня все эти мысли на лицах людей прочитывал, но не обижался и на «убогого». Терпелив стал без меры. Остудил горячую кровь в холодных горах. Но тлел в груди зароненный войной уголек, и подернется ли когда хладным пеплом – неизвестно. Да что говорить, таким огнем Ваню опалило, столько его в себя принял, как только душа уцелела в таком полыме?

Со стороны нипочем не догадаться, о чем думает молчаливый солдат, да и думает ли вообще? Странно спокоен взгляд его не по возрасту усталых глаз. Не разглядеть в бездонных зрачках застывшее страдание и боль. Люди простых и понятных любят, а как быть с человеком

не от мира сего, не знают, да и знать не хотят. Не укорять же их за это. Да и как объяснить, что именно в эту секунду Ваня думает не о том, по какой цене нынче картошка, а отчего люди враждуют? Нервничает, что никак не может разобраться – кто и неведомо зачем вкладывает в него странные мысли, без которых раньше ему жилось спокойнее и увереннее. Может быть, те, кого он потерял, знали и мудрые ответы. Да они из своих неизъяснимых высей подсказать не могли.

Весь этот мучительно долгий путь не покидало Ваню странное ощущение, что едет он с людьми в одном поезде и в одно время, а как бы в разные стороны. Объяснять себе эту необычность он долго не мог, да и не пытался поначалу. Разучился удивляться на войне, а госпиталь и вовсе притушил чувства. Первые часы после выписки ошеломили неуютной свободой. Но Ваня недолго разобрался с возникшим было острым чувством своей ненужности. Еще на вокзале по-солдатски рассудил – чего ж еще требовать от отцов-командиров: на поле боя не бросили, на лечение определили, домой отправили. Следовательно, поступили с ним по справедливости – немощные на войне без надобности. Да и выслужил он свой срок с лихвой.

Поневоле наблюдая за странствующим человеком, Ваня не уставал удивляться. Весь дорожный народ, казалось ему, передвигался по стране бесцельно и суетливо, вел себя до предела беспечно, а этого и ранее, в мирной жизни, позволять себе было нельзя. Он долго поражался такому беззаботному поведению, пока не вспомнил, что и на войне не все люди могли сосредоточиться и не поддаться панике. Только тогда начал избавляться от смешанного чувства, что сам он едет на восток, а все остальные незнамо куда.

Осенило вдруг – все дело во времени. Время для него было контуженным: случалось, невообразимо долго текли минуты, будто просачивались сквозь капельницу, а то вдруг взвизгивали и уносились незнамо куда целые часы. Очнешься, кругом одно и то же, да не совсем, как если бы неуловимо сдвинулось все на чуточку вперед, один ты в этом измерении подзадержался. Немудреная разгадка заключалась в том, что для всех обыкновенных, не воевавших людей время ровно текло. День прошел, и слава богу. Ваня же постоянно преодолевал зияющие провалы и теперь каждым часом дорожил. Он бы вскоре наверстал потери недосыпом, если б не надо было врачевать сном раны.

Поначалу, бодрствуя ночи напролет, он будто спросонья, а на самом деле жадно вглядывался в бедный расхристанный народ, снующий по перронам больших и малых станций. Наглядевшись же на привокзальную жизнь, сделал вывод – везде одно и то же, и хорошего мало. От сумбура беспокойного мира его пока ограждали тонкие стенки вагона, но он понимал, что это ненадолго. Потому и настраивал себя как мог на встречу с новой жизнью, уверившись, что за его отсутствие бедлам только усилился. Ване, как глоток воздуха утопающему, требовалась короткая передышка. А для того, чтобы она ему выпала, необходимо было восстановить в себе самом порядок, покой и справедливость. Все то, что в горах растерял, – не до того, когда вокруг живую плоть с землей и камнем перемешивают. И вообще не до чего, ярости бы хватило чужую ярость побороть.

По прошествии первых дней вовсе уж равнодушно наблюдал, как безголосо гомонит за мутным стеклом разноплеменный люд. Невольно отмечая, что на вокзалах еще меньше стало русских лиц. А те, что он так жадно рассматривал на больших и малых остановках, странно отличаются от запомнившихся из прежней жизни. А всего-то два года с небольшим прошло. Что-то неуловимо, невозвратно изменилось в облике страны, пока он воевал, а что – еще понять был не в силах.

Понимал задним умом, что нечего тужить об утраченном, сломанном на потребу одних и на гибель других. Так во все времена было и будет. У него в груди ничего не ворохнулось, пока ехал по теперь уже ни своим и ни чужим кавказским краям, кровью пропитанным. Где он холодно и отстраненно слушал стенания, вопли и проклятия беженцев. Ване на войне совсем

мало времени потребовалось уяснить, кого надо защищать, а кого нет. Никакие словоблуды не могли с толку сбить.

А когда проявилась за окном родная русская сторона, будто плетью ожег нервный ток. Опахнуть бы сердце радостью встречи, да горе пересилило. Смотрел на свою землю и разве что слезы не глотал. Обнажилось вдруг холодно и ясно, что не счесть, сколько изгнанников рассеялось на ее просторах за эти страшные годы, сколько убито и замучено в рабстве. Да и не надо пытаться – сердце не выдержит такую надсаду.

Все дальше увозил его поезд от гор, а не притуплялась саднящая боль. Печально созерцал Ваня проплывающие за окном бедные деревеньки. Невольно сравнивал неказистые бревенчатые домишки с кирпичными хоромами богатых горцев. Без зависти и злости – от трудов праведных не наживешь палат каменных. Знал и другое – то, что легко дадено, легко и отымается. Самый крепкий камень рушился от прямого попадания. Но, глядя на эти мирные русские равнины, не мог избавиться от ощущения, что и на них пало лихо. Спрашивал себя, почему людям, испокон веку на них живущим, счастья как не было, так и нет? Почему вновь они с великим трудом приходят в себя, пытаюсь справиться с очередной напастью? Верить себя заставлял, что очурались люди, хоть и врасплох беда их застала – свои в спину ударили.

Ваня видел теперь этот почужевший внезапно мир будто сквозь закопченное стекло. Пытался вообразить явь плодом изуродованного войной сознания. Не связывались, рвались нити. Ему еще предстояло познать, что вся его прежняя жизнь была светлым легким исчезающим сном, из которого его рано вырвали. И всю дорогу, до самой Москвы, не мог отделаться от мучительного ощущения, что расплывается одолеваемое им пространство. И вместе с тем что-то растворяется, исчезает в самом Ване. Больно сдавливало грудь и представлялось: раскачивается, рассыпается незыблемое кровное и родное, дотоле втугую связанное, как сноп колошеев, из которого зерна не выпадет без Божьей воли.

А на самом деле это таяла Россия.

Но он еще мало видел и мало знал ее сегодняшнюю, чтобы верно выбрать главное, из чего является человеку смысл жизни. Пока же многое ускользало от него, размывалось в сознании, путалось в мыслях. Легче всего было бы отнести неладное такое состояние на общее помутнение от войны, на слабости и раны. Но и это была бы не вся правда. Ваня не потому спал все светлое время суток напропалую, что перепутал время. Он как бы всякий раз страшился проснуться. И один твердо знал почему – возвращения его как бы и не предусматривалось.

Тихо ехал Ваня, оглушенный чужой и ослепленный своей ненавистью. Таил, не выказывал страшную силу и равную ей слабость, боясь самому себе признаться, что не знает, когда и как отравила его русскую кровь месть. Отмечал лишь, что она возникала всякий раз, как надо было воевать не щадя живота своего.

До самого Урала давило Ване грудь, воздуху не хватало, а подъехал, и посвежело. И почудилось, будто таежной горчинкой пахнуло. За окном же проплывали опущенные нежной зеленью вечерние леса и луга, крутые взгорки. Слепило глаза малиновым отблеском закатное солнце. Играла бликами привольная озерная вода. Блескучая волна на перекате выказывала изгиб реки. Поддался Ваня благостному очарованию. Как вдруг накрыло, оглушило, завертело его. Аж в глазах потемнело. Гул. Темень. Вспышка. Свист.

Вжался Ваня в угол. Машинально провел рукой подле себя, пытаюсь нащупать автомат. Не нашел и испытал короткий приступ паники – безоружен остался. И нельзя бронезилетом прикрыть окно, за которым вычерками носятся красные и желтые трассиры огней. Через секунду-другую разобрался, что поезд влетел в смрадную дыру туннеля, но не сразу отошел. Потряхивало от напряжения. Пока состав, грохоча и завывая, продирался в тесном мрачном замкнутом ущелье, невольно отмечал глазами каждый высверк подземных фонарей. Без оружия Ваня теперь ощущал себя неуютно, ровно голым. Объяснить, да и то приблизительно, это его состояние можно было лишь тому, кто хоть однажды ходил босиком по змеиному кособогу.

И не раз еще плотно впечатывался Ваня в угол купе, с нетерпением дожидаясь, пока вспыхнет за окном белый свет или замерцает звездная тьма. Он кожей чувствовал, как распадается на обе стороны железной дороги желанный простор – в ту же секунду, как поезд пробкой выскакивал из туннеля. Но еще долго настороженно вглядывался в стелющуюся у самой насыпи лесополосу, привычно отмечая, как недопустимо близко возле путей бродят люди, как подозрительно долго параллельно с поездом летит по полевой дороге машина.

Вымотался Ваня, пронизывая уральские горы. Он теперь даже от малого напряжения испытывал упадок сил. И восстанавливался, лишь погрузившись в свой спасительный мирок, отгородившись от всего окружения прочной прозрачной стеной. Не узнавал себя Ваня, холодно удивлялся, вспоминая свою прежнюю сердечную тягу к людям. Ведь каждого встречного-поперечного старался приветить, полагал, наивный, что нет на свете плохих людей. Сызмальства внушили: будь добр, и самый пропащий человек не ответит тебе злом. Через это больно страдался в свое время от людской несправедливости. И все же, если бы мог, ни за что не променял бы на нечеловеческую справедливость, к которой приучает война.

Все хорошее недолго длится. Те же люди, кого он когда-то так безмерно хотел любить, проезжали сейчас вместе с ним всю Россию, как ему казалось, без тепла и терпимости, без сочувствия и жалости. Вваливались в купе, жадно ели, без меры пили, зло веселились, матерно ругались, иногда хватали друг друга за грудки. Ваня таких соседей не привечал и не отворачивался – он на войне и не такое видел. Но там кровью и железом утверждались свои жестокие правила: что можно, а что нельзя, и переступить их было смерти подобно. Иначе, какой ты свой? Наблюдая за попутчиками, Ваню иной раз оторопь охватывала – да что же это с его народом случилось? Ведь не гражданская же война бушует, чтобы брат на брата, сын на отца? Но вскоре и к дикости привык.

Иного буйного поправить хотелось: не выкобенивайся, земляк, война кругом, и здесь достать может. Ну, не война – кто там не был, тому это не растолковать, проще сказать, – зло, самым человеком порождаемое. Ваня физически ощущал, как оно клубится, нависает, заполняя собой все пространство, и разражается там, где ведут себя не по-божески. Со злом ничего поделаться было нельзя. Оно одинаково беспрепятственно настигало опухших от пьянства бродяг на вокзалах, нищих, роющихся в мусорных баках, вальяжных господ в сверкающих лимузинах и важный служивый люд. Не щадило затурканный беспросветной жизнью весь русский народ.

Выстрадал Ваня за последние годы истину, что народу на свете много, а настоящих людей мало. И что случись большая нужда – достойных хоть по всему миру собирай. Знание это теперь из Вани пулей было не вышибить.

Глава 4

В Новосибирске, показалось Ване, поезд простоял слишком долго. Затянувшаяся тишина спугнула и без того чуткий сон. Сквозь зыбкую дрему Ваня стал слышать, как громко хлопают двери, ощущать, как по полу несет холод и быстро выстуживает вагон. Он лежал в опустевшем купе, кутаясь в одно тонкое одеяло. И желал одного – пусть подольше продлится желанное одиночество. Он так устал от всех этих чужих, равнодушных людей. Всю прошедшую ночь его бил озноб, и, казалось, бессонница выжала остатки сил. А когда уснул наконец, даже во сне никак не мог согреться. Мнилось все: жметя, льнет вместе с другом к холодным скалам, облепленным мокрым липким снегом, а отпрянуть не в силах. Вжал их в камни прицельный пулеметный огонь. Летит каменная крошка, остро, стыло, больно сечет лицо.

Мало спалось, да много виделось. В этой полуяви, полусне, еще до того, как дверь в его купе отворилась и на пороге встал старик с неподвижным лицом слепца, Ваня обреченно подумал: опять явились новые попутчики и в покое они его не оставят.

– Здравствуй, мил-человек, – произнес старик ясным, без единой трещинки, но каким-то потусторонним голосом и пропустил вперед себя двух девчонок.

Ваня сдержанно ответил, не в силах унять ознобистую дрожь. Встретил насмешливые взгляды восковой спелости девиц. Они тут же пригасили улыбки – и он прикрыл глаза, обведенные понизу темными полукружьями. Его неумолимо клонило в сон, да и не было никакой нужды тратить силы на знакомство с очередными попутчиками.

– Из госпиталя добираешься, сынок? – через какое-то время вновь послышался странный старческий голос.

Ваня вытянул себя из обморочного забытья и глянул на деда. Тот неподвижно сидел на полке с каменно непреклонным лицом.

– Из госпиталя, – тихо подтвердил Ваня, мало удивляясь прозорливости слепого старика. Жизнь за последние два года его подготовила к разным неожиданностям. И эта была не самой непредсказуемой.

– Да и спрашивать не надо было, я этот больничный запах навсегда впитал. Вовек не забуду. Ты спи, спи, мы тебе мешать не станем...

Какой уж тут сон, если одного багажа у попутчиков оказалось на десятерых. Весь проход заставили. Ваня завернул себя в одеяло и вышел в коридор, чтобы не мешать девчонкам растолкать по багажным полкам узлы, коробки, чемоданы. В ту же минуту поезд мягко тронулся, потянулся заполненный людьми перрон. И уже на ходу, под суматошный крик проводницы, в тамбур вдруг прыгнули трое парней в кожаных куртках. Разминувшись с ними в тесном коридоре, Ваня проводил их взглядом в конец вагона. И вряд ли оставил в памяти, если бы, перед тем как скрыться в последнем купе, один из парней не задержал на нем свой взгляд. Таких, полных скрытого презрения и угрозы, глаз он достаточно навиделся на войне и теперь безошибочно выделял в любой толпе. И сразу будто встопорщился кто внутри, просигнализовав об опасности. «Нервы истрепались», – отгоняя тревожное чувство, подумал Ваня, отвернулся и стал смотреть в окно. За пыльным стеклом мелькали бетонные заборы, кирпичные постройки, унылые пустыри – одно и то же сопровождало вокзалы в каждом городе. Вскоре из дверей купе донесся тонкий девичий голосок:

– Можете заходить, дедушка приглашает отчаевничать с нами...

Девчонки скользнули мимо, побежали за кипятком к проводницам. А Ваня молча уселся и стал смотреть, как ловко старик режет перочинным ножиком вареное мясо, соленое сало, хлеб, аккуратными горками раскладывает на чистой тряпице.

– Звать-то тебя как, солдат? – В два приема очистил он большую луковицу и отложил нож.

– Иваном.

– Меня Трофимом Михайловичем. Будем знакомы. Внучек за чаем услал, мигом обернутся. Чай-то ныне в поездах дорог, нет ли? Давно не ездил. Не думал не гадал, что на исходе лет придется кочевать. Не по своей, конечно, воле, – вздохнул он, помолчал и неохотно признался: – Из Казахстана путь держим. А куда, зачем? Не светило, не горело, да вдруг припекло. Эвакуировала нас жизнь. Столько лет жили не тужили, да чем-то неуютны стали новой власти. Машью, стало быть, не вышли. Вот и бежим.

– Как бежим? – ошеломленно спросил Ваня. – Там же не воюют...

– Эх, Иван, где сейчас русского не воюют. Изводят под корень. Мы-то уж самые остатние, из самых терпеливых, кто до конца на месте сидел, надеясь переждать напасть. Других давно выжали. Сын с невесткой вперед уехали, по Сибири всем нам пристанище искать. Полгода уж прошло. Сообщили вот, что нашли наконец угол. Какой-то леспромхоз принял, от железной дороги еще две сотни километров на север. Туда и везу внучек, морозить.

– Так сразу и морозить? – И удрученно переспросил: – Что, вовсе стало неумоготу?

– Да как тебе объяснить, Ваня. На свете разные люди живут, и у всякого свой предел терпения. Кто послабже, тот сносит любые притеснения. А кто в силе, тот разве позволит помыкать собою? По себе знаю, что стерпеть многое можно, выждать, а после на свой лад повернуть. Любая беда переживаема, когда справедливость есть или уж такая сила ломит, что нет никакого удержу. А тут ни того и ни другого. Сменилась власть, и воцарилась одна, как теперь говорят, коренная народность. Вначале немцы стронулись, за ними уж и все другие подались с насиженных мест. Остались одни старые да совсем немощные. Доживать. Но немцам-то было куда отправиться, а русские опять на обочине оказались. В своем, можно сказать, доме пасынками стали. Земли-то ведь эти исконно нашими были, казацкими. Да лучше уж бездомным и голодным по России скитаться, чем на чужбине мыкаться. Вот и побросали люди дома, имущество раздали или за бесценок продали, подались кто куда. Сказать бы, куда глаза глядят, да как скажу – с Отечественной света белого не вижу. Слышь, Иван, ты бы глянул, где это внушки запропали. Пора бы нам чайком согреться.

Ваня выглянул: девчонки, как ему показалось, любезничали в коридоре с парнями, вошедшими в вагон в Новосибирске. Заметив его, заспешили, со смехом впорхнули в купе.

– А это что, Наталья? – строго спросил дед, ощупывая быстрыми пальцами коробку конфет, которую они принесли вместе со стаканами чая.

– Угостили нас, деда, – уклончиво ответила та, что постарше и, не удержавшись, добавила: – Да ну их, пристают.

– Не надо было брать, – сухо сказал старик. – Я чему вас учил? Волос длинный, да ум короткий. Сидите теперь, не высовывайтесь, не на своей улице.

Ваня согрелся и не заметил, как втянулся в разговор. А поначалу привычно отмалчивался, своими горестями переполненный.

– Как там на вашей войне, туго? – сдержанно спросил старик и сам же ответил: – Да уж, думаю, несладко. Нам было нелегко, но мы всем миром одолевали противника, а вы будто одни воюете, без всякой поддержки. На словах кто только не помогает, а на деле нет единства. Верхи толкнули в драку, а сами сзади за рубаху держат. А то еще хуже, подставляют. Народ уж не знает, чему верить.

– Войну не выбирают, она сама выбирает. Там, в горах, все по-иному, нет там ни передовой, ни тыла. Мы с врагом сражаться пришли, а не участвовать, как нынче бестолково выражаются, в боестолкновениях. Но попробуй повоюй, если он, гад, выползет, ужалит в спину – и в кусты. Или рассеется по мирным селениям, не выкуришь. Там даже не люди, там деньги воюют, – в сердцах ответил Ваня.

– Всегда так было – кому война, а кому мать родна. Всем от нее достается, даже тем, кто думает, что его она не коснулась. Я свое давно отгеройствовал, но знаю, что и потом нет от нее спасения, так она человека перебаламутит.

Старик замолчал, твердой рукой взял стакан с чаем, отхлебнул и продолжил:

– Меня война глаз лишила, и всю оставшуюся жизнь на ощупь прожил. Примеряю все, что раньше видел, что помню, к своим слепым ощущениям. Раньше сильно жалел, что всласть на мир не насмотрелся. А когда? Едва вырос, на фронт попал, – чуткие пальцы его едва касались стола и всякий раз безошибочно находили нужное.

– Мы тогда в наступлении были, выдохлись, трое суток без сна. Остановились в каком-то украинском хуторе, едва до хаты – и вповалку спать. Обстрел начался, и первая же мина влетела к нам сквозь соломенную крышу. Так никто боле и не проснулся. Один я. Очухался, весь в крови, ничего не вижу. Рукой лицо ощупал – глаза на щеках. Взыграло во мне все – слепым не жить! Добить себя решил. К смерти я уж давно был готов, да и как быть не готовым, когда вокруг столько народу положило, что уж жизнь никакой ценности не составляла. Вскочил в горячке на ноги, потянулся за автоматом – я его перед сном над головой повесил. Вот уж приклад нашупал, потянул к себе, а брезентовый ремень зацепился о гвоздь, будто кто

не отпускает оружие. Тут и ребята из нашего взвода на взрыв прибежали из соседней хаты. Вырвали автомат из рук. Я бьюсь, вою, будто дикий, жить не хочу. Скрутили, в полевой госпиталь отправили. Удержали от греха...

Резкий стук прервал неспешный разговор. Дверь тут же наполовину открылась, и в проем заглянуло скуластое лицо одного из парней. За его спиной маячили и другие.

– Так мы ждем вас в гости, красавицы, – растянул он в улыбке узкие, темные, будто резиновые губы. Уставился неподвижными глазами на девчонок.

Из своего угла Ваня отчетливо видел нехорошо сузившиеся зрачки парня и понимал, что добром этот визит не кончится. Впрочем, это он уже знал наперед, едва повстречав этих парней в коридоре, а предчувствия давно уже его не обманывали.

– Шел бы ты, молодец, подобра-поздорову, – не глядя на гостя, бесстрастно сказал старик, – а мои внуки со мной останутся.

– Тут я решаю. Пошли, кому я сказал, – шелестящим голосом прошептал чернявый.

Девчонки молча жались друг к другу, испуганно поглядывали на деда. Парень решительно шагнул за порог, уверенный в своей силе и безнаказанности. На Ваню незваный гость не обратил никакого внимания. И это было не в диковинку. В чужих краях Ваня попадал и не в такие переделки, и не таких дерзких видывал. Но поневоле напрягся – этот был из тех, кто свирепеет от одного жалкого вида жертвы, и чем покорней и беззащитней она ведет себя, тем круче приступ злобы...

– Никуда они не пойдут, – тем же ровным тоном ответил Трофим Михайлович.

– Молчи, старик, худо будет, – угрожающе дернулся в его сторону парень.

– Хуже уже не будет, – окаменели скулы на морщинистом старческом лице. – Стыдно...

Старик поднялся с полки, сделал шаг в его сторону, и тут парень неожиданно хлестко ударил его по щеке ладонью. Так подло, как русские никогда не били и не бьют.

Ваня помертвел. Но уже в следующий миг тугая волна холодной ярости качнула сердце, грудь наполнила до боли знакомая бурлящая сила. Успел еще почувствовать, как весело и страшно возвращаются давно позабытые ощущения. И погрузился в них, как случилось всякий раз перед схваткой: страх растворялся, а тело само знало, что надо делать.

Стремительным броском метнулся вперед. Ударил с лету и без замаха, целясь в переносицу. Будто свинчаткой припечатал – гость выпал за порог. В ту же секунду Ваня оказался в коридоре, с ходу уложил второго. Достал бы и третьего, но повязка сковала движение. Он чуть промедлил и внезапно понял, что времени и сил ему может не хватить. Предательская слабость разливалась по телу. Соперник отпрянул, сунул руку в карман и ринулся вперед, выставив узкое лезвие. А не надо было доставать нож. Ваня, пересилил себя, уклонился, и когда нападавший провалился, ударил коротко, резко, как ломал кирпичи.

В голове поплыло, и коридор накренился. Запаленно дыша, он прижался спиной к холодной скользкой двери купе, потемневшими глазами оглядел поверженных на пол, не разжимая кулаков, готовый к действию. Но лишь один из троицы слабо пошевелил рукой, ища опоры. Ваня ногой отодвинул нож подальше, на мгновение испытал странное ощущение: он как бы увидел схватку со стороны и будто вместо него кто-то другой быстро и четко выполнил работу. И был доволен ею.

Ослабевшие в госпитале мышцы подрагивали, в глазах плавала мутная пленка, отгородившая на время схватки весь окружающий мир. Сознание то ускользало, то возвращалось вновь. Ниоткуда возникали и тут же исчезали размазанные фигуры людей, из купе смотрели заплаканные глаза девчонок, что-то говорил старик, которого он не слышал. На сердце было холодно, пусто и равнодушно. Он свое отвоевал и теперь, держась на ногах из последних сил, лишь мог вяло думать – выдержали, нет ли, швы на ранах? Тельняшка с левого боку намокала быстро и горячо.

Ваня потряс головой, разгоняя туман и морок. В глазах прояснело, и он обнаружил рядом с собой проводницу. Зажав ладошкой рот, она не сводила глаз с его окровавленного бока. Но ее уже отодвигали плечами два рослых мужика в пятнистых куртках и папахах. Ваня, вцепившись в край двери, безучастно наблюдал, как они сноровисто сковывали наручниками двух очухавшихся парней и отдельно – нападавшего с ножом. И Ваня сообразил, что подоспел казачий патруль, который обеспечивал порядок в поезде на этом участке пути.

– Эй, жив, вояка? – глянул глаза в глаза бородатый казак, и близкий погон на его плече расплылся мутным пятном. – Чувствуешь себя как?

Ваня выдавил сквозь зубы:

– Терпимо...

– Кто б мне сказал, а я бы не поверил... что это ты их один заломал, – недоверчиво произнес бородач. – Чего не поделили?

– Девчонок, – криво усмехнулся Ваня и еле сдержал стон.

– Понятно, а по-другому не мог?

Ваня поднял свои глазищи, глянул в упор, и тот осекся на полуслове. А может и оттого, что только сейчас заметил кровь на тельняшке.

– Ничего себе, – протянул он, – ну-ка дай гляну, видать, все же зацепили тебя бандюганы...

– Милицию только не зови...

И тут Ваню повело в сторону. Казак ловко подхватил его, завел в купе, усадил на полку, задрал тельняшку и обнажил повязку, набухшую черной кровью из полопавшихся швов. Лицо его потемнело. Любого с непривычки жуть возьмет такое увидеть. А под бинты лучше вовсе не заглядывать. Поначалу Ване самому дурно становилось от вида страшной вязи сизо-багровых шрамов: рваных от осколков и ровных от скальпеля.

– Как только выкарабкался! Ну повезло сволочуге, если б задел тебя своим поганым ножиком, своими руками бы удушил, – мрачные огоньки затлели в глазах бородатого.

– Руки короткие, – услышал его Ваня, по-цыплячьи прикрывая глаза от слабости, поминутно проваливаясь в беспамятство. – Мерзну я, холодно тут...

– Еще одно одеяло! Быстро. И аптечку захвати! – гаркнул бородатый проводнице. – Бинт, йод, пластырь. Неси все, что есть!

– Терпи, казак, – ловко разматывал он сочащиеся кровью бинты, как это умеют делать лишь те, кто воевал.

– Ё-моё, – с трудом выдохнул казак. – Да где же это тебя так? Ровно дикий зверь испластал.

– Зверь и рвал, там, на высотке, – бормотал Ваня, мысли путались, в сознание ломился кто-то чужой и свирепый, преследовавший его от самых гор. – Шиш, не дамся!

– Ты помолчи пока, не трать силы...

– А тебе кто сказал, что у меня родова казацкая, по матери? – Ваня плохо понимал, что он говорит, едва удерживая себя в сознании, борясь с настигшим его когтистым чудовищем. И все плыло, плыло купе, раскачивалось перед глазами, будто поезд мотало поперек рельсов.

Бородатый казак понимал его состояние, бережными профессиональными движениями обработал растрепанные раны, ровно, в меру туго наложил свежую повязку и все это время не умолкал ни на минуту:

– Наших, значит, кровей. И какой станицы будешь, казачок? То-то я смотрю, лихой какой, троих уложил, а сам еще на ногах держится. Крепись, браток, не такое вынес, чтобы от такой пустяковины бледнеть. Потерпи еще чуток. Ну вот и все, я ведь тоже не одну передовую прошел.

Осторожно пересадил Ваню, отыскал под полкой армейский вещмешок, передел его в новенькую еще ненадеванную тельняшку. Окровавленную сунул проводнице.

– Простири!

Уложил Ваню и только потом вспомнил о напарнике, дежурившем в коридоре. Ушел, но вскоре вернулся, склонился над Ваней, подоткнул по углам еще одно одеяло.

– Отогревайся. Далеко едешь-то?

– К маме, – прошептал Ваня.

– Ну, раз улыбаешься, значит, доедешь, – ободряюще коснулся плеча. – Слышишь меня? Значит так, я этих, тобой поломанных, на узловой станции сдам. Тебя светить не стану, себе твои заслуги припишу. Ты и без того хватил лиха через край. Напарник у меня шустрый, даром что в милиции раньше служил, пока мы тут лечились, осмотрел купе этих архаровцев. Полный комплект, скажу тебе, – от наркоты до холодного оружия. Да и вещички, похоже, краденые. Мало не покажется. В общем, оснований для задержания достаточно. А ты береги себя, казачок, немного нас осталось. Будь здоров. Бывай! – и вышел из купе.

Ваня уже носом клевал, как сквозь сонный обморок почудилось ему – пропел кто-то в коридоре тоскливым голосом щемящие слова:

Голова-головушка
Стерпела много горяшка,
Горяшка великого
Из-за народа дикого.

Ваня вслушался и, вроде, признал голос бородатого. В сон клонило. Не так много крови вытекло из него сегодня, но теперь хватало потерять самую малость ее, чтобы ослабеть. Губы свело от обиды – сколько ж ее проливать можно? Так и вся может кончиться. Но одернул себя – не смей раскисать! Война, ведал Ваня, давно по всей России расползлась и тут, у его дома, не заканчивалась. Потом он вовсе плохо стал соображать: день, ночь ли вокруг, казалось, вечные сумерки опустились. Чьи-то лица белыми пятнами витали над ним, приближались и отдалялись, понимали, нет ли, что он бессвязно вышептывает:

– Молчи, говорит. Я ему помолчу. Я в горах не молчал, а здесь, у себя дома, и подавно. Они нас за людей не считают. Мы для них рабы забитые. В ямах, в цепях держат. Но они теперь нас узнали и еще узнают, и долго помнить будут. Где для них край, для нас только начало. Они терпения нашего великого не знают. Они вообще не знают, кто мы такие...

И вновь, в который уж раз, ощущал клубящуюся вокруг себя тьму и медовую искорку света вдали – будто кто-то светлый шел ему навстречу, бережно неся в сложенных лодочкой ладонях трепетный живой огонек. Огненный лепесток, покачиваясь, плыл к нему, все ближе, ближе... Как вдруг ослепительно синий всполох беззвучно озарил все вокруг. И Ваня вновь увидел, как взмыл в небеса его ясный огонек и распался на светляки. Сверху скользнули большие хищные птицы и сронили с крыльев земной жестокий огонь.

Явь и сон сплелись в одно. И он уже не способен был осознать, где и с кем находится. Лежал на вагонной полке, воевал с самой войной. Долго ли нет ли так он бредил, а очнулся в полной тишине. Тускло светила лампа под потолком. С верхней полки зареванными глазами смотрела Наташа, испуганной птичкой поглядывала младшая. Прежний старик неприступно сидел за столиком.

– Водки выпьешь, Иван? – спросил он, едва Ваня открыл глаза, а может быть, уже спрашивал. – У меня есть. Ну, нет так нет, а я маленько выпью. Доведут меня мои девки до ручки, личиком беленьки да разумом маленьки...

А Ваню и без того мотало. Вагонная полка временами раскачивалась под ним, ровно качели, тошнота подкатывала. Он то коротко и мучительно забывался, то вновь приходил в себя. И тогда слышал тяжкие вздохи старика, сонное дыхание его внушек. Научила война спать

сторожко. Но и в дреме ощущал, как гулко обрывисто ухает в груди сердце, разносится по всему телу, отдается болью в поломанных ребрах.

Старик караулил его сон. Время от времени Ваня слышал его монотонное бормотание.

– Да что я видел-то? – разговаривал он сам с собой. – Как старуха моя померла, совсем одиноко и трудно стало жить. Все хозяйство на мне осталось. Да с другой стороны, когда мы легче жили-то? Там президент с президентом лобызается, а я по колена в назьме, корову дою. Там карнавалы, фейерверки иль революции, а я дою. Там уж профукали, проплясали все, есть нечего, дою. Меня нет уже, а я все свою корову дою и дою, по колена в назьме. Вся жизнь мимо прошла, не заметил. Корову доил.

Ваня слушал и не в диковинку был ему старческий разговор, на войне каких только необылиц не наслушаешься. Но была в его словах горькая правда, отчего внезапно тронула сердце жалость. А вслед пришла трезвая ясная мысль: ему теперь заново придется учиться любить людей. То, что ему было так естественно дано с самого рождения – любовь, – война загнала на самое дно души, придавила тяжким спудом бед и горя. С тем открытым и щедрым сердцем, с каким жил раньше, ему уже не жить. Не радоваться каждой встреченной душе.

– Он мне на базаре и говорит: где это ты, дед, видел, чтобы я работал, я что, русский? Какую же они власть над нами забрали, чтобы так изгаляться над народом? Вот только одного понять не могу, – потерянно говорил старик, – столько простора, землицы столько, а люди ютятся на клочках. Чего не коснись, всего нехватка. Одни бедные кругом, а богатых я и не видел, нет их. Может, был бы зряч, так рассмотрел, но только слышу, что и у нас богачи есть, да такие, что не приведи Господи! Не знаю, верить слухам-то. Иван, спишь, нет ли? – проверял он Ваню и, не дождавшись ответа, продолжал: – Спит, сердешный, эвон его как на войне. Заступник, не он, пропал бы я сам и девок своих загубил. Где это видано, на старика руку подымать. Да разве мог подумать, что до такого позора доживу. Сейчас вот еще маленько выпью и спать буду.

Постукивая горлышком о край стакана, наливал, выпивал, тихонько выдыхал крепость водки. Ваня забывался, но вскоре пробуждался от ровного говора:

– Дед мой, когда я еще мальцом был, про мою бабушку разные истории рассказывал. Запомнилась одна. Это еще в Первую мировую войну было. Они тогда в западных областях жили. Ну вот, стоит она у плетня, а мимо ведут наших пленных, увидала, запричитала: «Родненькие вы мои!» Год проходит, в другую сторону уже бредут пленные немцы, она и по ним жалуется: «Инородненькие вы мои!» Во, как было. Всех жалко, все люди, вот только кто еще способен так о чужом сердце надрывать. Было такое, да сплыло. Так что зря беспокоятся господа хорошие. Нет, русский человек теперь вовсе не немцев, прибалтов иль кавказцев не любит, он больше всего русских не любит. А еще более – самого себя. А уж когда самого себя не любишь, где ж найти любовь на других? Лишил Господь нас любви...

Тяжкая выпала ночь. Очнулся Ваня перед самым рассветом, весь охваченный тревожным гнетущим чувством. Будто потерял что, а отыскать не может. Прислушался, но причины не обнаружил: ни в себе, ни вокруг. Вроде, и раны не сильнее прежнего ныли, и сил прибыло, а сковывала грудь сердечная смута. Казацкая частушка не шла из головы. «Голова-головушка стерпела много горюшка...» – мысленно повторил ее Ваня, и внезапно то, что сопротивлялось, не поддавалось пониманию, открылось: отец снился.

Во сне он бесплотно скользнул к нему из своих недоступных далей, уверенный, сильный, любящий, присел на постель, положил руку на плечо, и утишилась боль. И опять Ваня не смог, как ни силился, разглядеть его лица. Отец погиб в афганских горах, едва сыну исполнилось семь лет. А детская память сохранила лишь солнечный весенний день, когда его провожали со степного, открытого всем ветрам, военного аэродрома во вторую, ставшую последней командировку. Отец весело помахал ему и маме рукой, поднимаясь по трапу в поглотивший его пятнистый самолет. Помахал на прощание, улетел и уже никогда не вернулся.

Слушая drobный перестук колес в предрассветной тревожной сердцу тишине, Ваня мысленно перебирал в памяти весь свой род, начиная с отца. В близкой истории ни в одном поколении не было в нем не воевавших. Прадед, лихой есаул, Первую мировую и Гражданскую прошел, дед отвоевал Отечественную, отец не вернулся с афганской. Не считая других близких родственников, побывавших на больших и малых войнах. И он не избежал этой участи. Да таких, как он, разве сосчитать по всей России!

«Устал, как я устал», – прошептал Ваня в серое зыбкое пространство купе. Впервые ощутив, что вся безмерная накопленная всеми его родичами ратная тяжесть не рассеяна в исчезающем пространстве, хранится в нем, а поверх лежат лишь лишения, выпавшие на его долю. Но его муки, его боли не могли раствориться в бесконечности общего страдания. Еще недавно родичей было много, в разные времена они могли опереться друг на друга. Ему же не к кому было прислониться. Последним из мужиков остался, вышиби его, кончился бы на нем их род. Бабушка сказывала, что раньше у казаков на войну таких последышей, как он, не посылали, сберегали для потомства.

«Жив», – выдохнул Ваня, не в силах объять не вмещающийся в сознание огромный смысл этого короткого слова. Весь мир заключался в нем. Тот мир, который до войны звался жизнью и не ощущался им, как не ощущается здоровое дыхание или биение молодого сердца. И этот – исковерканный, больной, несправедливый. Там, в горах, он и подумать не смел, что может не вернуться. Да, известно, каждый надеется, что его, единственного, убить не можно. Только Ваня теперь другую науку постиг. И сейчас в поезде, по пути домой, холодок возник в груди от одной мысли, что если б он погиб, мать умерла бы от горя.

За окном вспыхнули алые перья длинных облаков, ровными валками выложенных на небе. Солнце начинало свой утренний сенокос. И глядя на всю эту красоту, от которой раньше всегда становилось легко и певуче на сердце, Ваня подумал, какая величайшая несправедливость царит в мире, если красота и уродство соседствуют так близко. И об этой нескончаемой, направленной на выбивание его народа, войне. И о том, есть ли ей край вообще. Не хотелось верить Ване, что и дальше русские будут воевать беспрестанно, всю свою несчастную, кровью написанную историю. И оборвал себя – не пришло еще время задуматься о том, слишком рядом стояла война, от которой ему надо было еще долго остывать. Одно знал твердо, что в свой час, на своей земле, он потребовался для непоколебимого стояния. И если бы дал слабину, пострадало много близких дорогих людей. Потому и взвалил на себя такую безмерно тяжелую ношу – убивать врагов. Искушил неискушенное сердце.

Но теперь подошел край этой его работе, навоевался досыта. И чувствовал это не только он, но будто все его предки, уставшие и измученные войнами, весь его род, от которого он один и остался. И опять ужаснулся тому, как легко он мог прерваться на нем. А еще более тому, что целиком весь русский народ подошел к черте, за которой по воле злого рока очутилась уже вся его фамилия. Сухими глазами смотрел Ваня на небо. Терпеливо смиренно ждал и дождался ответа. Упали слабые лучи солнца на неоттаявшую землю, и вынеслось ему из тайной глубины то, что он сразу принял на веру, – нет, не случится конца его народу, Господь не допустит.

Будто вдруг открылся ему потаенный родник, и Ваня припал к нему, с каждым глотком восстанавливая душевные силы, истощенные войной. Казалось, щедрое знание будет дадено ему, успевай брать. Но устранился Ваня откровенного. Об одном спросил напоследок – что сделать, чтобы победить врага? И молвлено было – сровняться с ним по силе зла, но не впасть во зло.

Глава 5

Поезд теперь вез Ваню по сибирской равнине, вольготно распростертой по обе стороны железной дороги, навстречу солнцу. Без конца и края тянулись необозримые просторы, не

стесненные угрюмыми горами. Здесь ему и дышалось легче. И думы были подстать этой распахнутости пространства. Он даже на гражданке, отучившись два курса института, столько не думал. А уж на войне, известно, прежде действуй, умствовать потом будешь. Замешкаешься на долю секунды, чуть позже нажмешь на спусковой крючок – домой без билета отправят, если будет что доставлять.

Теперь, когда время для Вани текло тягуче и медленно, он, не спеша, осмысливал все, что накопил в боях и между ними. Знание его состояло из самых простых и понятных истин. Раз ты жив, ты еще не убит, а раз убит, уже не жив. Ты сотворен для этой войны, а она сотворена для тебя. И еще из многих, не представляющих для непосвященных ни малейшего интереса, а для него имеющих особый потаенный смысл. В попытках постичь самую суть Ваню заносило немыслимо далеко: вдруг разворачивался в темном пространстве огненный свиток, прочесть который было нельзя, можно было лишь догадываться о подлинном смысле начертанных на нем пылающих знаков. Просыпался в холодном поту и понимал, что не дано живым знать тайну мертвых.

Посреди своего пути Ваня испытывал странное двойное чувство: хотелось поскорее попасть домой и в то же время потянуть время. К встрече с мамой он еще не был готов. Нельзя было ему предстать перед ней таким немощным, от слабости шатающимся. Некого ему было жалеть в этом мире, одну лишь маму. Те, кто на высоте полегли, в жалости уже не нуждались.

Глубокой ночью, дождавшись, когда уgomонятся последние пассажиры, выбирался Ваня из купе, ковылял в конец вагона. Запирался в промозглом туалете и, завернув тельняшку до самого подбородка, торопливо разматывал присохшие к телу бинты. Заново обрабатывал растревоженные раны лекарством, крест накрест пеленал себя одной рукой, прижимая локтем сползающую повязку. В одиночку делать это было затруднительно. Особенно, когда вагон шатало на крутых поворотах. Пока управишься, липкий холод насквозь прохватит, вызнобит до самого нутра. Возвратившись в теплое купе, он всякий раз долго согревался под одеялом. И до самого рассвета не смыкал глаз, хотя сразу после перевязки его неумолимо тянуло в сон. Знал, стоит лишь расслабиться, поддаться желанной дреме, как тут же вывалится из душной тьмы оскаленный бородач, и он опять, костенея от ненависти, будет рубить его саперной лопаткой...

Все самое тяжелое ему бессонными ночами являлось. Он давным-давно, не упомянуть когда, спутал время суток. Еще там, в горах, командир одному ему доверял охранять короткий сон вымотанных рейдом бойцов. Без опаски, что тот сморится и их всех вырежут как сонных кур.

В один из таких ночных часов, под спокойное дыхание попутчиков, понял Ваня, что вовсе не об изуродованном теле ему надо печаловаться. Представилось ему, будто и впрямь это он наблюдал да не запомнил, что в медсанбате из него, располозованного, душу вынули. Подержали трепещущую, обмирающую в холоде и мраке, и обратно вложили. Кто это мог сделать, нельзя было даже предположить, но уж не хирург точно. Тот мог искусно кромсать плоть, не более. И тут осенило Ваню: оттого и мучают его недуги, что еле-еле душа в теле. И что он не первый и не последний испытывал тоскливый ужас отстраненности и оторванности от всего белого света. И что еще в незапамятные времена бесчисленные страдальцы облекли в верные слова состояние, им сейчас испытываемое. Душу надо было спасать.

А чем укреплять, как отогревать душу, не ведал. У Вани внутри будто все спеклось, выгорело дотла. Пусто, гулко было в груди. Как в башне танка, оплавленной взрывом боеукладки. Тревога витала, что никогда уж не оживут в нем прежние чувства. «Спать нужно больше, сон лечит лучше всяких лекарств», – убеждал себя Ваня. Потому и наладился спать день-деньской. А ночами бодрствовал, смертельно устав еще в госпитале в одиночку рубиться с ночным врагом. И дался ему именно он, ведь столько положил, мало не покажется: ни своим ни чужим.

До ранения, Ваня помнил это точно, сны его не мучили, он их умел напрочь забывать еще до побудки. А в госпитале начались кошмарные видения, избавиться от которых не давала близость гор. Ваня сквозь кирпичные стены чувствовал незримо излучаемую ими опасность. Тогда и познал, что выживший – еще не спасшийся. И что думы – за горами, а смерть – за плечами. Там, над скалистыми вершинами, испокон веку черный демон витал, сатанея от человеческой крови. Лютовал, попирая ангелов-хранителей. Всем живым невидим был, но Ваня побывал в иных нечеловеческих пространствах и теперь распознавал его в любом обличье. Оттого, верно, на время и страх перед смертью потерял.

Поначалу на госпитальной койке по слабости телесной ему и в голову не приходило, за что выпало на его долю столько мук и страданий. А задумался и нашел ответ – только для того, чтобы вызнать, что есть демон. В его воспаленном воображении тот принимал разные виды: мог ужалить голову пулей, порвать тело осколками лопнувшей под ногами мины или разнести на куски взрывом фугаса. Но в конце концов превращался в огненно-дымный, багрово клубящийся смерч. Там, где он пронесся, взвихривая пространство, возникал смертный холод, который рано или поздно стекал туда, где стояло тепло. Вымораживая все до пороховой сини, выедавая сердца и души людей.

Но и демон был не всемогущим. Ваня понял это вскоре, как перестал бредить и мысли стали обретать прозрачную ясность. Иначе он и тысячи других ребят, загонявшие глубоко в горы нечистую силу, были бы обречены. Ненасытный демон утолял свой голод злом, а этой пищей обильно подпитывали его люди, упиваясь враждой и местью. Вот и приходилось корчевать им зло по ущельям. Да не нами это начато, не нами и кончится.

Навоевавшись, Ваня теперь представить себе не мог, что отсиделся бы дома, не прошел бы весь этот страшный путь. Для него это было равносильно потере достоинства. А на нем весь его родовой корень держался. И по самому большому счету, каждый его родич в свое время достоинство отвоевывал, испытывая себя ратным трудом. Да и могло ли быть иначе, если без меры претерпевал русский народ страданий и лишений.

Ваня многих знал, еще живых и уже мертвых, кто в этих горах воевал, комкая в сердце лютую ненависть. И сам чуть было не стал таким, да прозрел. Что толку ненавидеть бесчувственный камень и липкий снег? Ведь и лавина сама не стронется, не обрушится на голову, если не подрезать крутой склон.

Ваня рано вызнал, что нельзя воевать одной слепой ненавистью к врагу. Почти сразу научился не обжигать себя злобой, подменяя ее холодным презрением. Лишь в первые месяцы истошный вопль «Аллах акбар» мог тугими толчками погнать кровь, заставить лихорадочно нажимать на спусковой крючок автомата. Обвыкнув, равнодушно усмехался и гасил короткими очередями хриплые крики. Ведь те, кто с ним воевал, боялись открытого боя, стреляли из-за угла, резали пленных и глумились над трупами.

Можно уважать врага, если он дерется достойно. И нельзя – если он словно бешеный волк режет без разбора своих и чужих, сатанея от пролитой крови. И получает плату за каждую отрезанную голову. Однажды осознав свою правоту, Ваня никогда не подвергал ее даже малейшему сомнению.

Размышляя обо всем этом, Ваня постепенно в одну из тревожных ночей дошел в своих мыслях до края. Неожиданно натолкнулся на прочное, как кремь, утверждение – истинное достоинство есть смирение. Ваню ошеломило такое открытие. Дотоле смирение ему было неведомо. Он тут же поторопился упростить свои рассуждения: подчиняюсь же я толковому командиру, повинуюсь его приказам, но это вовсе не значит, что я покорно исполняю чужую волю. И уж вовсе не склоню голову перед врагом.

Он не знал, есть ли в горах, с которыми русские опять лоб в лоб столкнулись, хоть капля того высокого смирения, изначально в его народ вложенного. Не во всех, правда, но за всех Ваня и не отвечал. Те же, против кого он воевал, считали себя гордыми и непокорными, но,

на его взгляд, не имели и понятия о настоящем достоинстве. И одно это заставляло браться за оружие. Знай край, да не падай. Он, чуть ли не до самого донышка войной вычерпанный и опустошенный, к своему счастью твердо осознал, что русское смирение не есть ни покорность, ни безразличие ко всему сущему. Никто не мог переубедить его в обратном, ничто не могло поколебать его выстраданную правоту. Вот уж истинно – что взято, то свято. К этому знанию он сам пришел, хоть и ведомый свыше.

И до Вани люди воевали, и так же трудно домой возвращались, и, подобно ему, удивленно вглядывались в измененный мир. В нем, чудом обретенном вновь, казалось, все неизбежно стояло на прежних местах, было знакомо и узнаваемо, но вместе с тем неуловимо отличалось от того, оставленного на короткий срок. Как если бы вдруг стерлась одна из бесчисленных сверкающих граней, и белый свет чуть-чуть изменил свое божественное свечение. На самом же деле это Ваня, выбитый войной из привычного русла, все еще пребывал в ином, морочном, вовсе ему не предназначенном времени.

Нет, не таким представлял Ваня свое возвращение. Воображение рисовало, как нетерпеливая радость будет вскипать в сердце с каждой станцией, приближающей его к родному дому. А вышло все наоборот: притаенно, опасливо передвигался, приглушив желания и чувства. Ну, да и немудрено – как только война всю радость и все горе подчистую из него не вымела. Оставила на развод какие-то совсем ничтожные крохи.

Да, слава богу, отогреваться начала в Сибири душа. Теперь не только глаза, но и сердце начинало созерцать, откликаться на всякую малость. Прежним ему уже никогда было не стать, даже пытаться не стоило. Значит, по-иному, заново предстояло налаживать жизнь. На малом полустанке поезд замедлил ход, переступая по свежим шпалам, медленно пошел по отремонтированному пути. И сквозь редкий перестук колес на неровных стыках донесся из гулко-го березняка частый настойчивый крик кукушки. Будто объяснить что-то человеку хотела. Зашемлило в груди от живого птичьего голоса. Встрепенулся Ваня, глянул за окно – и разом рассыпались на взгорке желтые глазки веселых одуванчиков, проклюнулась клейкая зелень молодого березового листа, и сразу высоко, просторно распахнулось прозрачное небо.

В покинутых им краях и весна бойцу была в обузу. В родной же стороне откликалась душа на самое слабое тепло. Давно не испытывал Ваня такой благодати, давно не позволял расслабиться окаменевшему от боли и ненависти сердцу. В сгущающихся за окном сумерках давно уже мелькал серый выветренный скальник, а не проходило мимолетное ощущение счастья. Словно овеивал Ваню ласковый ветерок с оставшихся позади просторов, и от его дуновения легче становилось сердцу, просторнее душе, освобождающейся от всего негодного для будущей жизни. И уверился Ваня, что теперь уж точно ничто не помешает ему доехать до мамы.

К тому же весь этот долгий путь домой он как бы не один проезжал. Не только за себя одного был в ответе, а за всех погибших ребят разом. Они неосознанно и бесплотно обитали в купе и его глазами взирали на продолжающуюся вокруг жизнь.

Глава 6

С утра и весь день в горах валил мокрый снег. К вечеру густо выбелил каменистые склоны ущелий, согнул в три погибели тонкие деревья, пригнул не сбросивший листву кустарник. Командир коротко переговорил по радиации с базой, сообщил место нахождения и время выхода группы.

– Значит так, мужики, перевал пройдем сразу, как стемнеет. Сообщают, беспокойно в нашем районе. Судя по данным радиоперехватов, где-то рядом «духи» бродят. Вполне возможно, что по нашу душу явились.

– Едва ли, мы чисто сработали и ушли тихо, ищи ветра в поле, – откликнулся Ваня, но про себя подумал, что командир зря беспокоиться не станет. Он и сам уже ощущал опасность, будто навесили сверху невидимую сеть и она напряженно вибрировала над ними.

– Так-то оно так, но береженого Бог бережет. С этой минуты удвоить внимание. Всем затаиться, и чтоб ни вяка ни звяка. Степанов, будь начеку, посмотри, понюхай, что-то мне здесь не нравится...

– Нервы, товарищ капитан, – вдруг сказал молчаливый Лешка. – А вообще, сниматься надо с насиженного места.

– Надо, да рискованно, – ответил взводный и как-то нехорошо по-волчьи оглянулся, будто кто ему в затылок посмотрел. – Если нас уже не засекли, то засекут, едва двинемся, перещелкают как куропаток на взлете. Ждем ночи. Нет, что-то не так, что-то неверно...

Капитан Соломатин прошел Афганистан, знал свое дело не только по уставу и, если принимал решение, себе дороже было возражать. Даже если внутри тебя, изнуренного маршброском по горам, все протестовало и сопротивлялось приказу. Беспрекословное подчинение командиру до сих пор срабатывало. Разведгруппа из всех переплетов выходила без потерь. Вымотанные многодневным рейдом по тылам боевиков, десантники примолкли, затаились каждый в своем укрытии.

Высотка, на которой они расположились, за годы войны уже была не раз перепахана вдоль и поперек снарядами и минами. В скальнике были выдолблены узкие окопы, засыпанные мелким камнем, замытые бурой глиной. Десантники на скорую руку очистив укрытия, рассредоточились по периметру и отсыпались, поочередно сменяя друг друга в дозоре.

Соломатин командовал Лешке выключить рацию и спрятался вместе с ним от студеной слякоти под плащ-палаткой. Ваня ящеркой скользнул по неглубоким, криво выбитым в каменной земле ходам сообщений. Если каждый день на боевых следует считать, по меньшей мере, за три, то необстрелянных новичков среди ребят не было. И все же капитан был прав, лишний раз не помешает осмотреться, понюхать горный воздух.

До этого часа поводов для тревожного беспокойства не было. Задание выполнено, до своей базы рукой подать – вот он, последний перевал. Левее, за горой, всего километров пять по прямой отсюда, артбатарея стоит. Правда, мало кто знает, где находится и чем занимается разведгруппа десантного батальона, да всем и не положено знать. Хотя не мешало бы сообщить свои координаты артиллеристам, чтобы ненароком не накрыли. Да лучше в эфир им не соваться – боевики засекут.

Ване весь день не спалось, хоть и вымотался не меньше других. Не покидало странное ощущение полного покоя, глухой тишины, какой в горах не бывает. Он попытался унять растущую тревогу, мало ли что почудится после грохота взрывов. До сих пор в ушах звенит. Прав друг Лешка – у всех нервы на пределе. Тревога странно действовала на ребят, большинство их мирно и безмятежно спали. И Ваня устало позавидовал им.

Не было видимой причины нервничать. Рейд прошел удачно, поставленную задачу по обнаружению баз боевиков выполнили. Можно сказать, с лихвой. Нежданно-негаданно наткнулись на склад боеприпасов. Но и тут сработали профессионально: без шума сняли охрану у входа в пещеру. Ни один из «вахлаков» даже не вскрикнул. И не погорячились, не сразу рванули штабеля. По приказу командир грамотно расставили вокруг мины-ловушки. Заминировали и мертвяков. Издали нипочем не разберешь, сидят как живые. Грохнуло до небес, когда разведгруппа уже далеко от пещер была, но все же слишком рано, чем хотелось. Громкий получился фейерверк, на всю тесную округу. Ваня только сейчас понял, что прочел в воспаленных глазах Соломатина в ту минуту: везения много не бывает. Но тогда он был зол на командира за то, что он приказал захватить с собой обнаруженный в схроне новенький автоматический гранатомет. Тащить такую тяжесть ему представлялось неразумным, но капитан питал к этой

убойной машинке особые чувства. Где-то в афганских горах она ему жизнь спасла. Пришлось по частям тащить «агээску» с гор, обмотав себя снаряженными лентами.

Стемнело, и разом приморозило. С горных вершин свалился ледяной ветер, погнал над ущельем рваные тучи. В прорехах замелькала дикошарая луна. Внизу густой мокрый туман скрывал долины. А здесь, на высоте, лунный свет отражался от обледенелых скал. Черные тени колыхались от любого неосторожного движения.

– Луны нам только не хватало для полного счастья, – чертыхнулся командир. – Постелила нам скатерть белую. Что же делать будем? – вдруг тихо сказал он Ване на самое ухо.

Но в это время Лешка включил рацию, побродил в эфире и тут же протянул наушники капитану. Краем уха Ваня услышал четкую гортанную речь. Взводный минуту послушал и потемнел лицом.

– Похоже, арабы, совсем рядом, и, судя по переговорам, их много. Пересеклись все же наши пути-дорожки. Боюсь даже предположить, как много. Не с руки сегодня нам с наемниками бодаться. Подъем, и уходим по-тихому.

Ребята – ни одна железка не звякнула – подготовились к отходу.

Да час их уже вышел. С обоих склонов спускались боевики. Вели навьюченных оружием лошадей. Шли уверенно, не таясь.

Капитан молча сунул Ване бинокль ночного видения и, не теряя ни минуты, начал командовать, выстраивая оборону. И он, и Ваня, и все понимали, что уйти незаметно уже не удастся и надо принимать бой. Судьба не оставляла выбора. Ваня повел «вороном» по склонам и ахнул. По белому снегу вниз стекали две длинные пестрые ленты вооруженных бородачей. Начал считать и быстро сбился со счета. И был еще миг, когда он ощутил это странное спокойствие, разлитое по-над высотой.

Соломатин выхватил бинокль, глянул и начал отрывисто и быстро докладывать по рации: «Духов» много, больше сотни. Караван с оружием. Да не успеете, говорю. Принимаю бой. Прoderжусь, сколько могу. Не отключаюсь...»

– И никто нам не поможет, и не надо помогать, – повернулся взводный лицом к Ване, и тот прочел в его глазах рысье, хищное предвкушение схватки. – Не помню, кто написал, но это про нас, – помолчал секунду, выдохнул с ненавистью: – Наемники, зверье. Ненавижу.

Скорой помощи им было не дожидаться. Ночью при такой погоде в воздух не поднимется ни одна «вертушка». Оставалось одно – держаться до последнего. Они все знали это. Только командиру было хуже всех. Он принимал решение умереть или не умереть всем им на этой высотке.

– Степанов, ставь «пламя» по центру, без этой игрушки нам не справиться.

Боевики спустились на дно ущелья, выстроились в колонну и двинулись к высоте.

– Не пойму я что-то, абреки прут как в праздник по главной улице, – сквозь зубы сказал Ваня, и Лешка, лихорадочно собирая гранатомет, продолжил его мысль:

– Будто кто тропу им продал, а нас забыл предупредить.

– Все, кончай разговоры, – скомандовал Соломатин. – Не первый снег на голову. Разберемся. Пулеметы на фланги. Подпускаем и бьем в упор. Из подствольников работать по тюкам, в них мины, взрывчатка. Стволы и патроны не жалеть. Пока «духи» очухаются, определят, что нас здесь немного, попытаемся оторваться. Пошуметь надо, ребята, как следует. Огонь по моему сигналу.

Горы взорвались дробным грохотом. Ночь озарили всполохи разрывов, прошили строчки трассиров. Передние ряды боевиков смялись, колонна остановилась. Пользуясь коротким замешательством, десантники всаживали в мечущиеся черные фигуры короткие очереди. Оба пулемета били длинными безостановочными очередями. Словно плетью стегала снайперская винтовка. Щелкали подствольники, рассыпая в разные стороны огненные брызги. Потеряв

десятка полтора убитыми и ранеными, боевики рассыпались, скрываясь в складках местности. И вскоре накрыли высотку таким плотным огнем, что с деревьев посыпалась уцелевшая кора.

– Этого и следовало ожидать, – присев на корточки, ровным голосом сказал капитан. Он всегда становился невозмутимым после первого выстрела и всех заряжал своим спокойствием. – Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Повоюем еще. Ну как, Степанов, готова твоя косилка?

Ваня кивнул, приладил коробку с лентой и взялся за ручки гранатомета, понимая, что долго ему повоевать не дадут. Засекут скоро и ударят из всех стволов.

По всему было видно, что наравались на них хорошо обученные наемники, не чета отрядам «вахлаков». В зарослях слева и справа мелькали на снежном полотне хищные тени. В полукольцо брали «духи» высотку. Их методично выщелкивал снайпер, отсекали пулеметчики, не подпуская на бросок гранаты. Но они наседали, и тут заработал гранатомет Вани, послал в темноту веером десяток гранат, которые будто выбрили осколками сгруппировавшихся для броска боевиков.

– Что б ты делал без меня, – услышал он голос Соломатина и нехотя согласился. Как в воду глядел командир, но лучше бы этого в ней не увидел.

– Когда будем помирать, тогда станем горевать! – оскалив зубы, прокричал Ваня, нажимая гашетку, настильным огнем рассеивая наемников. Нагнал панику.

И эта атака боевиков захлебнулась. Силы были явно неравны, но ночь и яростный отпор десантников сбили нападавших с толку. Они еще раз попытались нахрапом взять высотку и вновь откатились. Полчаса длилась передышка, пока «духи» перегруппировывались, подбирали раненых и убитых. И, как оказалось, распаковывали и устанавливали минометы. Мины легли с большим разбросом, но постепенно разрывы приближались. Над позицией завизжали осколки. Десантники били по вспышкам, но достать минометчиков, прятавшихся за гранитными валунами, не могли.

– Степанов! – крикнул в самое ухо командир. – У них две трубы и обе пуляют из-за груды валунов, чуть левее русла. Достать сможешь? Действуй! – и протянул свой бинокль.

Навесной стрельбе из гранатомета его никто не учил, да еще ночью, но он слышал, как это делается. Когда припечет, начинаешь соображать быстрее. Ваня прильнул к окулярам, отыскал треклятые валуны, определил дальность и аккуратно по навесной траектории отправил туда рой гранат – половину ленты истратил.

Минометный огонь тут же стих. Над высотой установилась ватная тишина. Оглохнув от стрельбы, Ваня ошеломленно потряс головой. Стало слышно, как вверху тонко посвистывает ветер в иссеченных осколками ветвях. И тут из темноты донесся хриплый ломаный голос:

– Договоримся командир?! Мы идем – вы пропускаете, вы идете – мы пропускаем. Клянусь Аллахом!

Соломатин усмехнулся, сложив рупором ладони, прокричал в ответ:

– Тесно, не разойдемся! А в плен шахидов я не беру! Отправляю прямиком на небеса.

Со стороны боевиков раздалась ругань, и взводный, внимательно вслушиваясь в доносившиеся выкрики, зло пробормотал себе под нос:

– Кроют нас почем зря. Семь верст до небес и все матом. Арабов много, это точно. И еще кого только нет. Каждой твари по паре.

Капитан лучше других знал, каково верить на слово слугам Аллаха. Потому и жив до сих пор оставался, что их вероломство на своей шкуре в Афганистане испытал. С непривычки видеть было больно его исполосованное шрамами тело.

На угрозы десантники не отвечали, затаились и выжидали. Под шумок, в темноте, «духи» медленно подбирались к высотке. Командир, не отнимая глаз от окуляров «ворона», следил за их передвижениями и корректировал действия бойцов. Подпустив на прямой выстрел, они ударили без команды. И вновь завертелась огненная карусель.

Ваня потерял счет времени и очнулся, когда из коробки гранатомета вылетела последняя лента. И только тогда услышал, как рядом стонет раненый, а с правого фланга огонь не ведется вовсе.

– Мужики, кто цел, отзовись, – прохрипел капитан. В ответ раздались редкие голоса. Едва ли половина ребят откликнулась на его зов.

Лешка, пользуясь передышкой, нырнул во тьму и скоро вернулся ползком, приволок снайперскую винтовку.

– Значит так, кроме нас в живых осталось трое. Чигирь, Митин и Малов. Четверых напо- вал, остальные ранены, все тяжело, – доложил командиру.

– Раненым помощь нужна?

– Да какая там помощь, доходят...

– Пить будешь? – сунул он Ване фляжку. – С Николы снял, она ему теперь без надоб- ности.

Ваня жадно глотнул и не сразу завинтил ребристую крышку – руки ходуном ходили.

– Все кишки вымотал, чертов механизм, дергается как живой, надо бы его камнями при- давить, – запаленно дыша, выдавил Ваня и вгляделся в почерневшее, осунувшееся лицо друга.

– Ты вместе с ним, как лягуха на кочке подпрыгивал, я уж забоялся, что к «духам» верхом на своем агрегате ускачешь, – бесцветным голосом выговорил Лешка.

– Я на него чуть ли не ложился, да где ж удержишь, – и тихо добавил: – Пацанов жалко.

– Нас жалеть некому будет, – без всякого выражения сказал Лешка.

– Бил грамотно, кучно, без тебя нам будет скучно, – прервал разговор голос капитан. – Жаль, боекомплект кончился. Теперь нам позиции не удержать. Да где наша не пропадала!

И кончилась передышка. Ожили, забухали минометы, со всех сторон метнулись к высоте огненные шмели пулеметных трассиров.

– Тупо прут, как скот на бойне. Видать, обкуренные напрочь, – Лешка отставил автомат и взял в руки снайперскую винтовку.

– Видишь в зарослях посеченных огнем лошадей? За ними, похоже, прячутся арабы- наемники, они и гонят абреков. Выщелкать бы их, – прокричал Соломатин.

И в тот же миг взводного отбросило назад, спиной на каменистую стенку окопчика. Длин- ная пулеметная очередь, обдав каменным крошечком, прошла окоп, едва не задев Ваню. Он лежал в двух метрах от взводного, но помочь ему ничем не мог. На них обрушился шкваль- ный огонь – головы не поднять. Да выручил друг Лешка, точным выстрелом снял пулеметчика, лупившего по ним с правого склона.

Бой шел на самых подступах к высоте. Боевики накатывали волнами, и сдерживать их было уже некому. Один за другим умолкли бойцы, хрипел умирающий командир. Остались они вдвоем с Лешкой. Крутились, будто заговоренные от пуль, в своих окопчиках расстреливали последние магазины в набегающих врагов.

В горячке боя Ваня перестал чувствовать боль, холод и усталость. Странная легкость овладела телом и сознанием. Будто все его чувства израсходовались как боекомплект до последнего патрона. Ощущал лишь один сплошной крутящийся вихрь огня дыма и металла. И тут будто ком снега упал за шиворот. Ваня обернулся – со спины на него молча валился бое- вик. Он встретил его хлестким ударом приклада. Добил короткой очередью. Отбросил автомат с опустевшим магазином. С отчаянным остервенением выскочил из окопа – помирать, так не в яме. Встретил набегающего бородача ударом заточенной саперной лопатки. Ударил наугад с такой силой, что тот сложился пополам, на миг заглушив истошным воплем звуки боя. Мет- нулся в сторону и наискось рубанул по горлу еще одного.

Ваня и сам что-то кричал нечеловеческим голосом, рубясь с каким-то холодным неистов- ством, понимая, что дерется не на жизнь, а на смерть. Жить ему оставалось совсем ничего. Но страха в Ване не было. Давно уже, после первой пролитой им крови, перестало потряхивать.

В темноте его сбили с ног, и он покатился в обнимку с врагом по склону. Навалился сверху, придавил коленом и, уже вытаскивая из дергающегося тела нож, услышал хлопки ручных гранат. «Духи» откатились.

Ваня слепо пошарил вокруг, отыскивая выбитую из рук лопатку, но наткнулся на автомат, облепленный мокрой листвой. Вытянул его из-под трупа, пополз к Лешке. Свалился к нему в ноги, ощущая во рту солоноватый привкус крови. От усталости поджилки тряслись.

Сидели, привалившись спина к спине, очумело оглядывая разбитые позиции, выкашливали пороховую гарь, забившую легкие. Едкий сизый туман стлался на высотке. Перебивал тошнотворный теплый запах человеческой крови. Так бесконечно долго можно было сидеть, но поднялись не сговариваясь, перебежали к взводному. Командир, хрипя пробитыми легкими, монотонно бубнил в микрофон: «Вызываю огонь на себя... координаты высоты, как поняли...»

– Командир, все, батареи сдохли, – отобрал у него микрофон Лешка и отодвинул рацию подальше.

Соломатин, уткнувшись подбородком в наспех перебинтованную грудь, безучастно молчал. Видать, потерял сознание.

– Думаешь, кто еще уцелел? – просипел Ваня, и Лешка, поднимая со дна окопа автомат командира, выдергивая из кармана запасной магазин, коротко помотал головой.

– Нет, я бы знал...

– Навалили «духов», мало не покажется, – хриплым и спокойным голосом сказал он, как будто все уже было решено и победа осталась за ними. – Ты с капитаном побудь, а я, пока затишок случился, туда и обратно, гляну пацанов. Стонет кто-то.

Соломатин, услышав их голоса, поднял мертвеющее лицо и попытался что-то выговорить заплетающимся языком. Ваня наклонился и разобрал kloкочущие в горле слова:

– Гранату... гранату дай, повыкидывал все...

Ваня поежился. Какие недюжинные силы надо было иметь, чтобы, умирая, ручными гранатами разогнать ворвавшихся на высотку боевиков. Спасти их с Лешкой. Знал и для чего капитан просит гранату. Вложил в его слабеющую ладонь тяжелую ребристую округлость, осторожно отогнул усики щеки. Одна граната всегда предназначалась для себя, но взводный и ее не пожалел.

– Это им не пленным на кусочки резать, вах-вах, – не прошло и пяти минут, возник из темноты Лешка, бросил на бушлат пару сдвоенных рожков, несколько ручных гранат. Высыпал с десятков выстрелов от подствольника. – Поделим по-братски. Да давай, пока совсем еще не померли, перевяжу тебя...

– С какого перепуга? – вяло удивился Ваня.

– Да ты ж в кровище весь, смотреть жутко...

– А, это я барашков резал... – ему уже как бы весело было умирать.

– Лопатка, что ли, пригодилась? – догадался Лешка.

– Уходите, приказываю... – четко, отдельно выговорил капитан, прежде чем у него горлом пошла кровь. Лешка встал на колени, несколько секунд молча, как болванчик, раскачиваясь над мертвым взводным. Машинально, одним движением, загнул чеку гранаты обратно.

– Все, Ваня, одни остались. Теперь наша очередь умирать, – запнулся и добавил постаревшим голосом, – страшнее будет не умереть.

Ваня кивнул. Можно было, конечно, попытаться уйти с высоты, в темноте оторваться от озверевших «духов». И, если повезет, спасти свои жизни. И оба знали, что не отступят. Кто однажды вышел из круга отчаяния, тому назад дороги нет. Холодно и отстраненно готовились к своей последней минуте. Перекидывались ничего не значащими фразами. Говорить о том, что имело отношение к только что прошедшей жизни, не имело смысла, а о том, что будет, тем более. Много потеряло всякий смысл и значение. Даже то, от чего только что щемило сердце: накроют или нет их огнем свои. Все вокруг поблекло и отодвинулось: и эти обледенелые чужие

горы, и призрачные звездные огни в разрывах туч, и эта проклятая высота, усеянная мертвыми телами. Один лишь тесный узкий окоп еще связывал их с этим миром, наполненным гулкой пустотой. Гори оно все синим пламенем, вместе с нами!

– Нам бы до рассвета дотянуть...

– Знаешь же, что не продержимся. Это точно, как и то, что далеко не всякая тварь радуется восходу солнца.

Где-то в стороне мучительно застонал раненый, но свой или чужой – не распознать. Люди умирали одинаково.

Щелкнул одинокий пристрелочный выстрел. Заработал по высоте пулемет. Кончилась короткая передышка. Плечо к плечу достреливали оставшиеся патроны, обжигаясь горячими стреляными гильзами. И тут коротко тывкнул миномет, и Ване показалось, что он даже разлил, как хищно скользнула к ним вытянуто-округлая тушка. На бруствере взметнулось белое пламя. Зашипел, завизжал воздух, раздираемый металлом. Метель осколков и каменного крошева накрыла окоп. И будто острые стальные когти глубоко взрыли его левый бок. Хватая ртом воздух, Ваня сполз по стенке, но сознание не потерял. Сквозь мутную пелену, заставшую глаза, глядел на Лешку. Тот лежал на дне окопа, неловко подвернув под себя руку. Опираясь на локти, перемогая жуткую боль, подобрался к нему. Призрачный свет луны выказал посеченное осколками, будто враз истончившееся лицо друга.

– Больно как, – скорее догадался по его губам, чем расслышал Ваня.

– Леш, Леш, – лихорадочно шептал Ваня, – ты подожди, не помирай, я тебя вытащу, – сам плавая в кровавом тумане.

Но Лешка смотрел прозрачными, удивительно спокойными, еще живыми глазами в уже светлеющее небо и не видел Ваню. Лишь кадык подрагивал на худом горле.

Ваня дотянулся до командира, строго глядевшего на него, разжал окостеневшие пальцы и вынул гранату. Вложил ее в руку Лешки, и тот благодарно посмотрел на него – будто он ему не смерть в чугунной облатке, а спасительное лекарство поднес.

Захрустел камень, тонко звякнули и посыпались стреляные гильзы под ногами поднимающихся на высотку боевиков. Совсем близко раздалась громкая гортанная речь. Ваню затрясло от ненависти.

«Врешь, не возьмешь», – прошептал Ваня. И собрав последние силы, вывалился из окопа, втиснулся под вывернутую из крутого склона взрывами скалистую плиту. Там, в узкой расщелине, обмирая от боли, проверил, не выронил ли свою последнюю гранату, и стал поджидать врага. До боли кусая губы, с каждой минутой слабея от потери крови, выцеливал мутнеющим глазом тех, кто уже бродил по высотке, реготал ненавистными голосами, расстреливая мертвых, добывая полуживых. Ваня повидал на этой войне много такого, от чего кровь в жилах стынет. В деталях представлял, что боевики сделают с доставшимися им телами ребят. И с Лешкой, и с ним тоже. Пришло ледяное прозрачное чувство отрешенности и покоя, которые не могла смыть липкая горячая кровь. Бинт, наспех заверченный им в окопе поверх тельняшки, пропитался ею насквозь.

Сухо трещали короткие очереди, будто кто рвал крепкую рубаху на груди и не мог порвать. Ваня, как загнанный зверь, терпеливо выжидал. И когда над окопом, откуда он только что выпал, как птенец из гнезда, сомкнулся круг боевиков, нажал на спусковой крючок. Но на мгновение раньше оттуда донесся глухой хлопок гранаты. Это Лешка попрощался с ним. Смагивая кровавую пелену, высадил весь магазин в копошащуюся тьму. Раздались истошные вопли, и один, пронзительный до тошноты, покрыл все остальные.

«Будто свинью режут», – заплетающимся языком пробормотал Ваня и выпустил из ослабевших рук автомат. Воин так кричать не мог. Выть так мог только тот, кто привык безнаказанно резать горло раненым и пленным. Да, кто жить не умел, тому и помирать не выучиться.

Сознание растворялось. «Пора», – мысленно попрощался со всеми Ваня и вытянул из нагрудного кармана гранату. И больше уже ничего не помнил. Не слышал, как за горой гулко рывкнули гаубицы, как тяжелые снаряды упали на пристрелянные тропы и вздыбили высоту. Перемололи и смели все, что на ней находилось, – живое и мертвое.

Не видел, как над самыми верхушками уцелевших деревьев, наклонив хищные клювы, пронеслись боевые вертолеты. Вернулись, еще раз огненным палом выжгли перебуравленную землю. И, взмыв по косой, неспешно ушли за перевал, до которого так и не добралась разведгруппа.

Глава 7

Пришел в себя Ваня уже в палате для тяжелораненых. Спустя неделю сослуживец, попавший в госпиталь с пулевым ранением, сбивчиво пересказал, что случилось с ним после боя. Он вообще первое время смотрел на него как на воскресшего. В батальоне Степанова одни считали, что он пал смертью храбрых, другие, что умер в госпитале. А по-честному, некогда и некому стало выяснять – жив он или мертв. В горах такая мясорубка началась, что похоронки на них не успели выправить.

Ребята из его десантной роты обыскали всю высоту, пока не наткнулись на развороченное снарядами убежище и не откопали из-под камней бездыханное тело Вани. Закутали в брезент, последним бортом доставили на базу, а потом, вместе со всеми погибшими, сдали «команде 200».

Холодильные камеры в пятнистом тупорылом КамАЗе были заполнены почти до отказа. С трех точек доставляли в тот день скорбный груз. Двое не просыхающих на этой работе прапорщиков спешили закончить погрузку и отправиться в путь. Да приспичило зачумленному солдатику, подтаскивающему к рефрижератору последние окоченевшие трупы, перекурить. Привалился к колесу, чиркнул зажигалкой и заметил, что один из «двухсотых» едва заметно шевельнул черными от спекшейся крови губами. Крикнул врача, и тот сумел нащупать едва различимый прерывистый пульс.

Потом Ваню на окровавленном брезенте внесли в операционную, и дежурный хирург сделал все возможное и невозможное, возвращая его с того света. А всех его героических пацанов, каждого в персональном отсеке, через Ростов повезли по всей России.

Из санбата Ваню без промедления переправили «вертушкой» во Владикавказ, в военный госпиталь, где его станет выхаживать неприметный тихий вятский паренек. Где в одну из ночей, смачивая ему ватным тампоном потрескавшиеся от жара губы, сообщит, что в бреду Ваня просит отыскать и вернуть ему заточенную Лешкой лопатку. И как запаянный патронный цинк ножом, разом раскроет наглухо захлопнутую память. Перекинет мостик из настоящего в прошлое.

После, расставшись с ним, Ваня с какой-то светлой щемящей грустью станет вспоминать конопатого солдата, обладающего редким умением не только питать жалость и сочувствие к увечным, а пропускать чужие боли и муки сквозь свое сердце. И притом искренне полагать, что иначе и быть не может. Ваня не мог ведать, хватит ли парню милосердия на всю эту войну, но одно знал точно – нуждающиеся в его помощи не переведутся никогда. Толком и поблагодарить не сумел, он, как незаметно появился у постели, так неприметно и ушел. Осталось чувство благодарности и впечатанное в память имя – Николай.

В госпитале, возвращаясь к жизни, Ваня мучительно долго вспоминал что-то очень для себя важное. То, что он видел там, на высоте, отуманенными болью глазами за миг до потери сознания. Но будто кто строгий задернул плотную штору и не позволял более лицезреть уже выказанное ему. И Ваня решил, что ничего и не было, мало ли что поблазнится в горячечном бреду. Но сердце вещало в особые минуты – было видение, было.

За окном медленно истаявал майский вечер. Ваня зачарованно смотрел, как бредут к горизонту белые облака, наливаясь понизу густым розовым цветом. Как с прозрачного неба льется мягкий рассеянный свет и ложится на живую, такую родную землю. Подумалось Ване, что без людей она могла бы быть еще краше. Но человеческое тут же взыграло в нем, и он легко избавился от кощунственной мысли.

Ваня вновь ощутил, что голову кружит неведомый тонкий аромат. От живых запахов лугов и лесов он был отгорожен немытым стеклом, но они неведомо как просачивались к нему в купе. Радостно жарко колыхнулось в груди – вернулись запахи, значит, будем жить. И вслед за тем ясно и отчетливо, будто со стороны, увидел себя, погребенного под холодным камнем и липким снегом. Оглохшего и ослепшего, способного ощущать лишь тошнотворный запах сгоревшего пороха и теплой крови. И то, что вовсе видеть не мог, – как возник в мрачном проеме горных вершин жемчужный просвет.

И дрогнуло небо, сквозь покров темных туч протаял чудесный лик. Печальные очи скорбно и мудро, как и тысячу веков, глянули из немыслимой небесной глубины, разом окинув и вобрав всю эту истерзанную землю и всех убитых людей, и Ваню, немощного свидетеля страшных событий. Угасающий взгляд на мгновение слился с лучезарным взором. И просияло в душе. Его оцепенелое тело наполнила неземная сила, он уже был готов воспрянуть и вспарить, влекомый светоносным образом. Но тут вспучился смерч, поднялся до небес, кромсая внизу живое и мертвое и застил светлый лик пепельно-сизым дымом. А за ним скользнули птицы, несущие смерть, роняя с крыла жесткие огненные перья...

Ваня освобожденно вздохнул, заново переживая явленное ему небом. Теперь он точно знал, что осененный этим всезнающим, наполненным спасительной любовью взором, умереть он не мог. Ни там, на высоте, ни после – от ран.

И показалось, отпустила боль измученное тело. Ваня тронул забинтованный бок, как бы утверждаясь, что от одного воскрешения в памяти чудесного лика ему стало легче. Неведомая радость заполнила грудь: там, в горнем мире есть лики, освещающие лица людей. Мысли прояснялись четко и ясно, словно звезды на горном небе.

Ему будто кто читал запечатленное на небесах: что Лешка, капитан Соломатин и все ребята, оставшиеся на той высоте, спасали не только свои жизни, и даже не весь свой народ, своими телами они перекрыли лавину вековой злобы и ненависти. Не в их слабых человеческих силах было справиться с напором, всем миром до сих пор не удалось его одолеть. Но они замедлили это чудовищное движение, дали передышку другим, чтобы они накопили силы для борьбы со злом.

И в этом открывавшемся ему знании заключалось оправдание всех перенесенных ими на войне страданий, тягот, ужасов и потерь. А в самом большом и глубинном смысле – спасения их душ. Там, среди дыма, огня и смрада, так об этом никто не мог сказать. Чурались они высоких слов, которыми нельзя попусту разбрасываться. Парням доступней был простой и грубый солдатский язык, в котором не могла запутаться ложь.

У Вани заломило виски от мучительных раздумий. Чем ближе подъезжал к родным местам, тем яснее становилось ему, что воевал он за то, чем жил прежде и чем предстоит жить теперь. Но и это была не вся правда. Ваня чувствовал, что есть истинный ответ. Единственный и верный, он просиял ему, умирающему, на разгромленной высоте. Отсвет закатного солнца озарил вершины лиловых гор. И будто свежим ветром вымело из головы путанные мысли, и всплыло слово – любовь. Да, да – неистово застучало сердце, – я воевал за любовь.

С горечью осознавая, что любовь ссохлась в его сердце. Не оттого ли он так редко бередил свою душу воспоминаниями о доме? За горами за долами лежала родная сторона. Так далеко-далече, что казалась недоступной твердыней, хотя теперь-то Ваня хорошо знал, какая она беззащитная. Только теперь, навоевавшись, он мог позволить себе постоянно думать о

маме, не боясь впустить в сердце тоску и печаль, способных погубить человека, ввергнув его в смертное уныние.

За науку выживания заплатил Ваня дорогую цену. И теперь ему заново приходилось учиться любить. Лишь любовь к маме не могла выжечь война. Надо было по приезде суметь не выказать ее всю разом. Иначе материнское сердце откроет, в каком ином, нечеловеческом, измерении побывал ее сын. Ни к чему ей знать, что, выбравшись из тьмы небытия, сполна познал Ваня, какое горе несет война всем: и побежденным, и победителям. И какую муку испытывает оставшийся в живых по погибшим.

Так во все века было и еще будет. Как не вычерпать всю бездну народного горя, так никому не дано вымерять горе одного маленького человека.

Глава 8

Еще задолго до выписки из госпиталя Ваня решил, что домой он поедет непременно через Москву. Никак нельзя ему было мимо столицы проехать. Не только потому, что ни разу в жизни в ней не был, а только мечтал побывать. Была еще одна, куда более важная причина: здесь жил его друг. И чем ближе подвигался к ней, тем чаще с какой-то застарелой тоской вспоминал, как молчаливый москвич Лешка полупшепотом прочитал ему под разбойничий посвист горного ветра строки: «Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» В тесной расщелине, среди холодных серых каменных глыб, где они двое суток терпеливо ждали в засаде «духов», от слов этих, произнесенных хриплым баском, у Вани в груди горячо стало. Такую великую надежду и убежденность, что все будет хорошо, что все будут живы, пробудили они в нем. Тогда-то Ваня и дал зарок себе и другу – обязательно побывать в Москве.

Москва ошеломила Ваню. Он, привычный ко всякому: к яростному грохоту боя и болезненной тишине госпиталя, стремительности и неподвижности, потерялся в ней. И дело было даже не в том, что он очутился в огромном чужом для него городе. Ваня на любой местности ориентировался одинаково легко и быстро. Наверное, слишком долго пребывал он в тесноте горных ущелий, брезентовых палаток, гулко-го нутра броневых машин. Так долго, что в скученной и скудной армейской обстановке скукожился его внутренний зрак, и оттого теперь многое вокруг представлялось ему нереальным.

Наугад шагая по улицам и переулкам столицы, Ваня забрел в небольшой безлюдный сквер, присел на скамью. И здесь, согреваясь на слабом солнышке, внезапно понял причину своего потрясения. Ну никак не ожидал он от такого величественного города подвоха. Умом понимал, что все в порядке – куда надо приехал. Но не мог отделаться от ощущения, будто попал совсем в другое государство, названия которому не знал. Он даже подозревать не мог, что отдельно от всей остальной России, скрытой сейчас от него серой дымкой, может существовать такой, на его взгляд, блистательно устроенный мир.

Прямо перед ним за ажурной изящно выкованной оградой виднелись аккуратные неправдоподобно красивые дома, ухоженные зеленые газоны, обрамленные причудливо подстриженными кустами. Подъезжали и отъезжали автомобили, дымчатые стекла которых скрывали их владельцев. Но и отсюда Ваня мог рассмотреть, как деловито шагают эти люди по вычищенным дорожкам, по-хозяйски распахивают двери, входят и выходят из домов. Уверенно чувствуют себя в своих владениях. Поразмыслив, Ваня понял, что все эти мужчины и женщины живут и работают в этом замкнутом, на европейский лад выстроенном для себя городке. Подобную жизнь он раньше видел лишь по телевизору, а теперь вот сподобился лицезреть наяву.

Испытывая легкое головокружение, Ваня неторопливо побрел куда глаза глядят. Переходил с одной улицы на другую. Недолго шел по тесным тротуарам, уступая дорогу спешащим пешеходам. Терпеливо переживал на перекрестках нескончаемый поток автомобилей.

Невольно задерживался у роскошных витрин невиданных магазинов. В один из них Ваня из любопытства заглянул, но наткнулся на удивленный взгляд скучающего охранника. С порога бегло оглядел безлюдный зал и удалился в растерянности: неужто находятся покупатели на все эти дорогие безделушки? Устав рассматривать сверкающие зеркальным стеклом и полированным камнем высоченные здания, он вдруг обнаружил, что вслушивается в говор теснивших его со всех сторон людей. Пытается разобраться, на каких языках говорит тут публика. Но вокруг звучала лишь русская речь. Это подействовало отрезвляюще, хотя и не рассеяло недоумения: русские люди так жить не могли.

На мгновение нахлынуло неприятное чувство, что Москва пытается сделать его маленьким, беззащитным, зависимым от установленного ею распорядка. Сердце запротестовало. Ваня свернул с проспекта в узкий переулок, прислонился к чугунной ограде и сосредоточился. Он бы не воевал в десантных войсках, если бы мог так просто затеряться в этом великом городе. Прежде всего ему надо было стряхнуть наваждение и осмотреться. Так и есть. Внешний лоск оказался обманчив. Броская реклама прикрывала обветшалые стены домов. В глубине дворов и вовсе с зимы не прибрано. Присмотрелся к горожанам и увидел, что многие торопливо идущие мимо него люди скромно одеты. Как глубоко впечатались в их лица усталость и озабоченность. Как часто среди них попадаются прохожие с затравленным выражением глаз.

Совсем пришел в себя, попав в подземный переход, где обитал вовсе суетливый и разношерстный люд. Мелкие торговцы, попрошайки, юркие темные личности беспрестанно сновали в тесном пространстве. Ване минуты хватило побыть в этом бедламе, чтобы понять: и здесь нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.

Теперь, вполне освоившись, можно было начинать искать станцию метро и ехать на Красную площадь, без которой Москва не столица и столица не Москва. А уж после ехать в Ясенево, где жил его друг. Время для поездок у него было – поезд на восток отправлялся поздним вечером. Еще весь день был в его распоряжении.

Ваня, помня Лешкину подсказку, издали высмотрел букву «М» на фронте здания и двинулся туда. Людской поток внес его в мраморный холл, провел через турникет, и скоро катился он вниз по эскалатору, дивясь на пробегающих мимо людей. Лихорадочно взвинченный темп здешней жизни ему понравился, пожалуй, он бы и сам побежал вдогонку за нетерпеливыми москвичами, да стянутое сухими швами тело сковывало порывы.

На перроне, едва успел расспросить в какую сторону ехать, прошелестела воздушная волна, вынесла электропоезд. Разомкнулись створки вагона, и уже через секунду, покачивая, мчал он Ваню в заветное место. Едва успевал считать остановки, ориентируясь по схеме метро. Бегущая дорожка вынесла его наверх. Не успел опомниться, как выбрался из-под земли, к небу, в котором багровели рубиновые звезды Кремля и нежно золотились возвращенные на башни имперские орлы. С замиранием сердца шел он к древним стенам и будто уже слышал знакомый и волнующий бой курантов. Мимо здания музея, как бы с опущенной инеем крышей, мимо маленькой церкви с высоким крыльцом. Ступил на истертую брусчатку – и вот она, Красная площадь, предстала пред ним во всей своей красе! Ваня перевел дух, пытаясь унять нервную дрожь. От волнения, а может, от контузии поплыло в глазах. Будто в жарком мареве качались знакомые очертания храмов, зданий, зубчатой стены и плавно колыхались силуэты людей.

Наконец сморгнул наваждение, и площадь оказалась вовсе не такой огромной, как представлялась. Ваня окинул ее одним взглядом, припоминая, как и по каким направлениям двигалась здесь когда-то громоздкая техника на военных парадах, шли колонны демонстрантов. Успел еще удивиться – зачем ему вспоминать увиденное когда-то в кинохронике? И тут обрушился на него со всех сторон малиновый звон. Время остановилось, а когда пошло опять, Ваня уже знал, зачем был позван на священную землю: здесь на невидимых скрижалях были запечатлены имена миллионов его сородичей, а теперь вот и его.

Мрачный мавзолей Ваня миновал без задержки, лишь скользнул взглядом по багрово-черной полировке – мертвое его не интересовало. И напрямки пошел к храму Василия Блаженного, с детским изумлением взирая на витые азиатской роскоши купола. Пристроился у памятника Минину и Пожарскому и отсюда начал неторопливо рассматривать будто навсегда заиндевевшие крыши музея, кремлевские стены и башни. Пока со Спасской не стек вдруг неизъяснимо будоражащий перезвон курантов. Переливчатый звон заставил очнуться и поторопил Ваню. Прохладный весенний ветер летал по площади, вздымая над кронами деревьев стаи серых ворон.

Он еще раз по кругу обошел всю площадь, сердцем созерцая милую ему красоту. Пожалуй, за все эти ненастные годы он был впервые по-настоящему счастлив. Не только оттого, что не обманулся в своих ожиданиях. Он и представить себе не мог, какие мощные токи исходят от древних стен и куполов, вливают в него неизведанную отвагу и целительную силу. От этого его начало даже потряхивать малость. Бледные губы сами растянулись в улыбке – нет, как бы там ни было, это был его город, его столица, в какие бы заморские одежды ни пытались ее нарядить шуты гороховые.

Длинный спуск вывел Ваню к Москва-реке. Не слыша ног под собой, прошел Кремлевскую стену и еще немного, и перед ним встал чудом явленный храм Христа Спасителя. И он поспешил ему навстречу, веря и не веря тому, что выжил, что видит всю эту необыкновенную красоту, а не в сырой земле лежит. Что и говорить, повезло несказанно – в живых остался, а теперь вот еще и Москву повидал. Об одном жалел, что не случилось познать столицу раньше, во всей полноте и сладости чувств. Обострив до предела одни, война притушила другие нужные ощущения. Запахи вот стал слабо чувствовать. Врачи успокаивали, что обоняние со временем восстановится, да верилось с трудом. Но сегодня и без утерянных ароматов впечатлений через край хватало.

Оглушенный пережитым, тихо шел Ваня к распахнутым воротам восстановленного из пепла храма. Так же сотни и тысячи лет шли к своим церквям вернувшиеся после долгой разлуки прихожане. И только когда вошел внутрь, понял, отчего так величественно, так скорбно глядят его главы на город. Великим воинам и великой победе поставили этот храм люди, покрыв стены беломраморными досками с именами героев, павших и выживших в той далекой войне.

Долго стоял перед иконостасом, глядя на мерцающие в золоченом паникадиле огоньки свечей. И его свеча теплилась среди них. Не знал Ваня покаянных молитв, одно лишь повторял беспрестанно: «Господи, спаси и помилуй всех нас!»

Теперь можно было ехать к другу в далекое Ясенево. И вскоре стоял он, печальный, перед ровной грядой высотных зданий. Растерянно разглядывал многоэтажки, и все окна разом смотрели на него. Робко пытался вспомнить хотя бы название улицы или номер дома жившего здесь друга. Записная книжка с адресом затерялась вместе с остальными его личными вещами на войне. Но весь долгий путь сюда Ваня слепо верил, что стоит ему только добраться до места, память восстановит строчки, вписанные твердой рукой погибшего товарища. Но не случилось, опустошенный контузией, он шел от улицы к улице, читал и перечитывал их наименования, подолгу пытал себя, надеясь отыскать нужную. Да только впустую измытарил себя поисками.

Опустив голову, Ваня сидел на потертой лавке, думал, что душевных сил у него только и хватило на эти поиски – не более. Ну, вспомнил, ну, отыскал бы, а что дальше – переступил порог и добавил горя родителям. Лешку им не заменишь. Горькое отчаянье сковало грудь. Наконец, нашел силы, поднялся со скамьи, пошел, по-стариковски шаркая ногами по асфальтовой дорожке, пытаясь не встречаться глазами со слепыми окнами. Добрел до первого попавшегося на пути магазина, купил бутылку водки и хлеба, два пластмассовых стакана.

В сквере, где нежная зелень тонкой травы уже пробилась сквозь опад, устроился под раскидистым кленом. Себе плеснул водки на донышко. Другу полный стакан накрыл куском

хлеба, поставил меж корней дерева. В одном был твердо уверен, что знает и помнит эта земля Лешку. Он ведь вырос на ней. И надолго задержал в руке невесомый стакан. Скулы окаменели, и губы свело. Слезами давился, а глаза были сухи. Водку выпил, как воду, не почувствовав ни вкуса, ни крепости. Помянул друга, а вместе с ним всех других ребят, оставшихся в горах. Никого и ничего не замечал в эти минуты Ваня – вокруг него будто кто-то бережный круг положил. Мимо проходили люди, но лишь раз кто-то приблизился к нему. Вдруг возникла близко чья-то помятая физиономия, нахально глянула на початую бутылку, но Ваня поднял невидящие глаза, и человек будто испарился.

«Прости, браток, и прощай», – прошептал Ваня, запивая слова глотком водки. И окончательно поверил, что Лешка все видит и теперь знает, что он выполнил свое обещание – побывал у него. Вот он стоит здесь, ждет его, зная, что никогда не дождется. Где-то рядом был его дом, его двор. Ваня это сердцем чувствовал, испытывая острую сосущую тоску от холодного осознания непоправимости случившегося. А еще более от беспощадного знания, что вот выпало ему счастье встретить друга, да несчастье тут же перехлестнуло. Ваня хорошо знал, что другого такого во всем свете не отыщешь, – судьба скупа на товарищей.

...Покачивало вагон, шелестело за окном, и все Ване казалось: тихий ропот просачивается сквозь стекло. Он терпеливо внимал этому глухому шепоту. Ему много что так вышептывалось после тяжелого ранения, наполняя неведомыми ранее чувствами и мыслями. Потому, наверное, и старел не по годам. Война, она не только плоть сушит, но и душу пьет.

Лешка давно уже ушел с белого света, а никак не избавиться от ощущения, что вот распахнется сейчас дверь купе, войдет друг, сядет рядом и наполнит сердце силой и покоем. И никак не мог этого дожждаться. Да и никогда не дожждаться. Вселенская несправедливость царила в этом мире – забирать с земли лучших. Ваня сломился пополам, уткнул локти в колени, глухо, протяжно выдохнул в ладони шершавый ком муки и страдания одним страшным звуком: «У-у-у...» Но вытолкнуть до конца не смог – горло костлявой судорогой перехватило. Хрипло, по-волчьи заклокотало в гортани: «У-у-у».

– Слышь, сынок, чем помочь тебе? – будто сквозь вату донесся до Вани встревоженный женский голос. – Может, какое лекарство поможет?

Ваня не ответил, перемогая и не поднимая головы, беззвучно выстонал из себя остатки боли. Осторожными глотками наполнил воздухом грудь, перевел дух и выпрямился. Попутчица, пожилая тетка, подавшись вперед, обеспокоенно всматривалась в его лицо. И тут же отшатнулась, наткнувшись на сухой взгляд Вани – не надо, обошлось.

Тягостная тишина не скоро развеялась в купе. Оставлять надо было свои переживания, развеивать по обе стороны железной дороги. Дом ждал, в который нельзя нести весь тяжкий груз, да справиться с собой Ваня пока не мог.

Глава 9

На Ярославский вокзал Ваня приехал раньше времени. До отправления поезда на восток оставалось еще часа три с минутами. Он бы еще посмотрел столицу, да поездка к другу отняла последние силы. И знал почему – слишком щедро, безрассудно расходовал свои чувства, зачарованный Москвой. Увлёкся, не успел подготовить себя, и в Ясенево не совладал с нервами. Потому разом поблекли впечатления. Печаль вытеснила из сердца тонкую радость. Вернулся в свое обычное болезненное состояние – ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Душа ныла, разрывалась на части. А от чего больше – от жалости или от любви не способен был распознать, оглушенный в госпиталях горькими лекарствами.

Вошел в зал ожидания и словно отрезал, оставил за спиной Москву. Сбылось желанное, а будто привиделось. В таком смутном состоянии Ваня нашел буфет, заставил себя выпить ста-

кан горячего чая и съесть бутерброд. Отыскал свободное место и забылся, задремал на скамье. Но не прошло и полчаса, как очнулся от тычка в плечо.

– Подъем, служивый! Документы! – услышал он лениво пережевывающий слова голос, каким даже в армии не разговаривают.

Ваня открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров. Широко расставив ноги, заложив руки за спину, они покачивались перед ним точь-в-точь как в американском боевике, разве что резиновых палок не хватало. Но едва попытался встать, появилась и дубинка. Молодцеватый страж порядка, вдругорядь ткнул ею в грудь Вани и промазал. Слишком медленно он все делал: и говорил и действовал. Ваня отвел его палку и через мгновение стоял на ногах. Бить себя он никому не позволял. Давно и навсегда затвердив в себе – от битья достоинство страдает. В учебном батальоне в первую же неделю схлестнулся со старослужащими, наполучал синяков да шишек, но принципом не поступился. Не прошло и месяца, отстали от него дембеля – да и как не отстать, если он до армии прошел школу боевых искусств.

Ваня едва сдержал себя, войной наученный отвечать быстро и жестко. Надо же, как одурманило, чуть тепленьким не взяли. Он не то чтобы расслабился в родной Москве, просто оказался не готов к тому, что здесь бьют своих, когда от чужих жизни нет.

В упор смотрел на них спокойным ледяной ясности взором. И они на секунду замешкались. Не ожидали встретить сопротивления от этого худого и бледного парня в мятом камуфляже. Но быстро пришли в себя.

– Хилый, а дерзкий, – в свою очередь махнул палкой низкорослый с квадратными плечами милиционер и провалился в пустоту. Ваня не двинулся с места, лишь негромко предупредил:

– Еще раз – и поломаю обоих...

И уже не удивился тому, что тупая животная злоба одинаково исказила их лица. Да и времени на то не было. Не осталось никаких сомнений – перед ним были враги, только в другом обличье. Опаснее, вероломнее многих других. Потому что им нельзя было ответить ударом на удар. Нельзя было даже возразить, ибо они как личное оскорбление принимали, что на свете есть люди, способные им дать отпор, когда они при исполнении.

Ваня в Чечне знал разных милиционеров. Немало попадалось среди них толковых вояк, прошедших в свое время горячие точки. С теми было легко и просто. Но немало прибывало порченных, таких, кто ехал не на войну, а в командировку. Надо было видеть в деле тех и других, чтобы, сопоставив, понять, сколько в мире развелось людей, кому все равно где, как и с кем служить. Однако такой вот злобной породы стражи порядка ему еще не попадались. Шальной случай сделал их работниками милиции, но с равным успехом могли они отправиться и в бандиты. Уродились такими: ни рыба ни мясо – ничем иным не объяснишь.

Милиционеры кинулись на Ваню с двух сторон, да не на того напали. Он прошел их обоих, очутился за спинами, и аж руки заныли от желания ткнуть их мордами в каменный пол. Да вот только не учен был воевать со своими. Пока оторопевшие стражи неловко разворачивались, Ваня успел еще сказать:

– Может, хватит, мужики, порезвились...

И тут в глазах полыхнул черный пламень. Сзади, из-за колонны, выскочил еще один, со всей силы опоясал его по спине гибкой дубиной. Удар пришелся по едва сросшимся ребрам и скользом по всему израненному боку. Ваня сложился пополам, задохнулся от жгучей боли и последующие удары, бросившие его на скамью, принимал уже ватным телом. Сознание ускользало, на одной воле держался, понимая, что стоит отключиться, и с ним люди в форме могут сделать все что угодно.

На войне, досыта нахлебавшись нечеловеческой жестокости и подлости, не мог предполагать Ваня, до какой степени способен вызвериться человек в мирной жизни. От одной своей

трусливой, никчемной и поганой сущности. Превозмогая боль, поднял Ваня голову, выстонал сквозь зубы:

– Свой же, русские, вроде...

– Я тебе дам – вроде! А ну, заломь ему руки назад! – войдя в раж, захрипел милиционер, сдергивая с пояса наручники.

И пропал бы Ваня ни за понюх табака, да вовремя заголосили кругом бабы. На его счастье проходил мимо армейский патруль. Пожилой капитан с двумя солдатами стремительно двинулся сквозь толпу, с ходу оценил ситуацию и отчеканил:

– Отставить!

И странное дело, милиционеры, уже вздернувшие закованного в наручники Ваню на ноги, вернули его на скамью. Офицер наклонился над обмякшим Ваней, сунул руку во внутренний карман его куртки, вынул документы, но даже не раскрыл их. Капитан смотрел на свои испачканные кровью пальцы.

– По какому праву, – едва разжимая побелевшие губы, холодно спросил он, – чиним расправу?

– Оказал сопротивление, – развязно сказал запыхавшимся голосом один из милиционеров. Офицер коротко глянул на него, и тот осекся.

– Они его дубинками били, – пронзил несмолкаемый вокзальный гул тонкий женский голосок.

Капитан наклонился, похлопал Ваню по щекам. Тот поднял ословелые глаза, вяло произнес непослушными губами:

– Сержант Степанов, разведвзвод... десантный батальон, комиссован по ранению...

– Помолчи, сержант, – капитан расстегнул ему куртку и увидел расплывшееся по тельняшке пятно крови.

– Раненого в медпункт, живо! – приказал он патрульным.

Круто развернулся к милиционерам и, покачиваясь с пятки на носок, с минуту не спускал с них неподвижных глаз, странным образом рассуждая сам с собой:

– Что, господин капитан, опять тебе патронов жалко? Вот жизнь пошла: ни перестрелять, ни морду набить.

Окружающие примолкли. Страшным стало лицо служивого: разом осунулось и потемнело, глубокие морщины изрезали продубленную солнцем и морозом кожу. Довели человека, заговариваться стал.

– Нет, не стану я рук марать о всякую дрянь. Стерплю. Не доставлю им такой радости.

Дернул щекой и пошел, хлопая полами потертой шинели о голенища сапог, вслед за солдатами, ведущими Ваню под руки.

В медпункте врач остановила кровь, сочившуюся из лопнувших от удара швов. Туго забинтовала, заставила выпить какое-то лекарство и успокоила, что на этот раз он легко отделался – ребра выдержали, и, кажется, внутри ничего не отбили. Ваня и без нее это знал – раз кровь горлом не пошла. Очнувшись, он неподвижно лежал на скользкой кушетке, ощущая лишь, как гулко бьется сердце в пустой груди. И не было в нем ни злости, ни боли, ни обиды – одно сплошное равнодушие. Капитан все это время, пока врач заканчивала работу, недвижно сидел у двери и издали смотрел на Ваню. дождался конца перевязки, помог подняться и увел в помещение военной комендатуры.

Там усадил на потертый диван, быстро и умело заварил чай в эмалированной кружке, подал ее Ване, попутно выпрашивая подробности стычки. Равнодушно выслушав, подвел черту:

– Проехали... Надо признаться, что мы оба оказались на высоте, не уронив противника на пол.

Ваня осторожно отхлебнул из дымящейся кружки, поморщился от тянущей боли в ребрах и чистосердечно признался:

– Стыдно... Люди стоят, смотрят, как тебя метелят ни за что ни про что. Кто жалеет, кто смеется. Я же понять хочу, как свой может бить своего. Или у меня там, на войне, что-то повернулось в голове?

– Да ладно тебе, стыд не дым, глаза не выест. Привыкай. Я ж привык, хоть тоже был ранен и контужен. А ничего, несу службу во славу отечества, по всему своему контуру оглоушенному. Сахарку добавь в чай, ты теперь своему животу потакать должен. И заранее извини, если что не так брякну. Со мной это бывает. Правда, как накатит, так скоро и схлынет.

– Да нормально, товарищ капитан, я вас понимаю, сам такой, – через силу улыбнулся Ваня.

Капитан засмеялся и сразу стал похож на взводного, только постаревшего, каким ему уже никогда не быть.

– Ничего, поначалу я самого себя не понимал. Нашу «вертушку» из «дэшэка» обрабатывали перед самой высадкой, и покатались мы по склону, перышки теряя. Очнулся, как в том анекдоте: и когда я подумал, что очутился на самом дне, снизу мне постучали. Но тогда мне не до смеха было. Распластался в коробке, слышу, подо мной кто-то колотится. В дыру глянул, бортстрелок лежит на камнях, ноги придавило. Тоже живучий оказался. С тех пор и заговариваюсь, когда сильно достанут. Но, заметь, матюги не допускаю. Зарок дал, когда из ущелья нас вытаскивали, больше матерно не ругаться.

– Себе дороже, – подтвердил Ваня, с недавних пор мало чему удивлявшийся.

– Ты, сержант, себя не мучай понапрасну. Тему эту не поднимай, придавить может. Затверди, что не свои были-били. Да так оно и есть – от русских этим архаровцам одно обличье досталось, да и то сильно порченное. Плюнь и разотри, их столько вокруг развелось, что за народ страшно. Насмотрелся я на своей комендантской службе на всяких. Ничего не меняется в жизни. Вор ворует, мир горюет. А мы – терпи.

За разговорами не заметил Ваня, как перегорела обида, осела горсткой пепла на доньшке сердца. А вскоре объявили о посадке на поезд, которым ему было ехать. Но прежде чем сопроводить Ваню до вагона, капитан молча и деловито запихал ему в рюкзак сверток.

– Пригодится, путь не близкий...

В свертке, как потом оказалось, было самое необходимое: бинты, вата, лекарства и немного еды.

– Бывай, может, еще свидимся, каких только чудес с нами не случается, – улыбнулся, кивнул на прощание и растворился в людской толчее. У Вани защемило в груди. Он только сейчас подумал, что забыл спросить его имя и где он воевал. Вдруг да пересекались где их дорожки. Хотя вряд ли: давно и в разных местах русский солдат воюет.

Глядя в окно на отплывающую Москву, с тихой грустью сказал себе Ваня, что вся неустроенность и тяжесть жизни происходит оттого, что совсем мало осталось таких, как этот капитан, путных мужиков. Близких ему по духу и чем-то еще отличных от всех других. Тем, что словами не выразишь, лишь одним сердцем распознаешь. Случается же, неродной человек становится дороже родственника. Значит, есть узы крепче кровных. Теперь он отчетливее понимал, что преданных, крепких и надежных мужиков – по пальцам перечесть. И тех подбиравла война, посылала в горы. Но с другой стороны, получалось, что война, проклинаясь на все лады, была нужна. Без нее не собрать было русским людям силу, не сосредоточиться на главном направлении. И то была правда, которую никто не мог извратить и оболгать.

Ваня редко брал в руки газеты, урывками слушал радио, перестав доверять пишущим и говорящим про его войну. Но не мог не почувствовать, что уже оседала поднимаемая ими муть. Вранье, которым без меры заливали страну, вдруг перестало прилипать к воюющим. Что

творилось в мирной жизни, ему пока было неведомо. Вернее, не было ни сил, ни времени разобраться.

За ложь всегда-то платили больше, чем за правду. Да и когда это правда измерялась деньгами? Но ложь на войне для Вани и его товарищей равнялась предательству. Подобно продаже врагам оружия и боеприпасов. Но если этих христопродавцев они готовы были рвать на куски, то к продажным журналистам испытывали холодное равнодушие. Как к хладным трупам лиц славянской национальности, воевавшим на стороне «духов». Для тех и других дело было не в личности, а в наличии.

Ваня из всех сил пытался оборонить себя от печальных мыслей. Нельзя ему было так много размышлять. От горестных дум слабеешь как от потери крови. А ему пришла пора настраиваться на мирную жизнь. Всего-то ничего он отъехал от суматошной Москвы, а за окном вагона потянулись светлые сквозные дали, растворяющие в себе всякий гул и грохот, наполненные желанной тишиной и покоем. Ваня поначалу слабо воспринимал проплывающую мимо тонкую красоту своей земли. Скорее мимолетно улавливал ее безотчетно тоскующим сердцем. Так, посреди суровой зимы вдруг замирает чуткая душа, ощутив в морозном воздухе весеннюю горчину стронувшегося к теплу миропорядка.

Глава 10

Если до войны Ваню больше занимала непостижимость тайны: тебя нет – и вот ты есть, то теперь: ты есть – и вот тебя уже нет. После выпавших ему смертных испытаний он уже не пытался отыскать отгадку. Ощущал лишь тусклое тоскливое чувство, оставшееся от вторжения черного небытия в его светлое житие. И непреходящее удивление, что полной тьмы не существует.

Однажды поезд надолго застрял на одной из узловых станций. Пассажиры дружно высыпали на перрон, залитый блестящим вечерним солнцем. Ваня рад был бы окунуться в эту мягко искрящуюся свежесть, да поберегся разбудить застарелые боли в стягивающихся на теле швах. Сидел в купе, как примерный ученик, аккуратно выкладывал на столике из спичек домики, колодцы, затейливые узоры – врач посоветовал для восстановления координации движений. Шло время, а поезд все не трогался, и Ваня стал смотреть на снующих вдоль состава бойких теток, предлагающих пассажирам разную снедь. Поприжала народ новая жизнь – понесли к поездам дымящуюся картошечку, солененькие огурчики, белое сальцо да квашеную капустку. Точь-в-точь как в голодные годы. А Ване и это уже не в диковинку – на войне как на войне.

Науку выживания русские люди вековечно осваивали, и этот век не исключение. Не каждый только мог отстраниться, ввинченный в кутерьму событий, и сразу осознать, что его золотое время оборачивается лихолетьем. Теперь лишь кинь взгляд на привокзальную площадь, и среди пестрой толпы глаз сразу отыщет и грязных беспризорников, и согбенных нищих, и мелкотравчатых бандитов. Жизнь такая – ни уму ни сердцу, однако править ее надо, и делать это самому. А если сам не можешь или не хочешь, за тебя это делают другие, но опять же вначале для себя. Тебе ж останется протягивать ладошку, кусочничать да воровать, тащить у себе подобных.

Толстые стекла приглушали шум станции. Тихо было в вагоне, и оттого Ваня загодя услышал гулкие звуки – кто-то бесшабашно бежал по крыше. Не успел удивиться тому, как вверху, над самой головой, раздался треск, синяя вспышка затмила солнечный свет. И тут же мелькнул свалившийся с крыши тряпичный тюк. Ваня прилип к стеклу, глянул вниз: прямо под его окном шевелился дымящийся ком. На щебенке между путей лежало обугленное тело в полозатом ватном халате. Отовсюду уже сбегались люди, что-то кричали, зачем-то махали руками.

И Ваня вернулся к своим игрушкам. Ему одного взгляда хватило определить – этот не жилец. Он столько смертей повидал в их самом ужасном обличье, и сам горел, и падал, чтобы

испытать потрясение еще от одной. Но на самом деле отвернулся от людей, жадно любопытствующих тому, чему вовсе нельзя любопытствовать. Все равно ведь ничего не высмотрят, не поймут, себя только запутают: из-за чего, может статься, вовремя не распознают смерть, да и не разминутся с ней.

Ваня сложил и разрушил одним движением спичечный домик и тут же принялся выкладывать следующий. Это занимало Ваню сейчас едва ли не больше, чем созерцание еле слышно гомонящей под окном толпы.

Наконец раздался протяжный гудок электровоза. Поезд дернулся. По коридору вагона побежали возбужденные зрелищем пассажиры.

– Мать честна, нет, ты видал, а? Ну ты даешь! Не заметил что ли, как он шандарахнулся? – плюхнулся на свое место попутчик и, изогнув шею, пытался еще что-то высмотреть там, на оставляемой станции.

Ваня промолчал по обыкновению, заканчивая строительство ажурного сооружения, но самый верх не удался – последняя спичка оказалась лишней. Башня рассыпалась веером по всему столу.

– Ты что, в самом деле не заметил? Как он прямо перед тобой грохнулся? – мужик уставился на стол и медленно добавил: – Это какая же силища тока, шибануло, он весь и обуглился. И за каким чертом его под провода понесло!

Ваня и бровью не повел: он только что придумал новую конструкцию пирамиды, которая должна была устоять на шатком столике.

– От милиции он, говорят, убежал, – пробасил в открытую дверь из коридора сосед по купе. – Азиат, откуда ему степняку знать, что под контактным проводом нельзя бегать. Он, поди, кроме своих саксаулов да верблюдов ничего и не видел. Шайтан попутал, осталась одна головешка...

– А, может, обкуренный он был, от его мешка наркотой на всю округу несло, – забираясь на верхнюю полку, предположил верткий парень, сын попутчика.

– А ты почему знаешь, что наркотой? – подозрительно спросил отец.

– Да уж знаю, – уклонился тот от ответа.

Поезд набрал ход, вписался в крутой поворот. Пирамидка накренилась и рухнула до основания. Ваня одним неуловимым движением смел спички со стола себе на колени и стал аккуратно укладывать их обратно в коробки.

– Ну что за человек, трагедия случилась, а ему хоть бы хны. Он даже этого не заметил, – не выдержал мужик.

– Да ладно тебе, батя, – свесился сверху его сын, – не приставай, он у нас контуженный.

Они бы еще поговорили о нем так, как будто его здесь не было. Да Ваня уже наполнил спичечные коробки, поднял голову и посмотрел на каждого поочередно светлыми глазами. Тихо стало в купе.

Слышен был лишь громкий разговор за тонкой стенкой, отделяющей купе:

– Ты не смотри, что кофта выцвела, я теперь женщина зажиточная, у меня кофемолка есть...

– А к чему она тебе?

– А так, для форсу.

– Тогда ясно. Нынче форс дороже денег.

Ваня, пропуская мимо ушей чужие разговоры, все это время напряженно размышлял о своем. Ему вдруг с беспощадной ясностью оказалась произошедшая в нем перемена. Если уж его не тронула гибель человека, значит, прав ерепенистый мужик. Вынули из Вани какой-то нужный сердечник. Оттого было так призрачно пусто и стыло в груди.

Неподвижными глазами смотрел в окно, а видел одно сплошное мутное пятно. Казалось, наконец-то он отыскал ответ. Но лучше бы его не находил. Война незаметно вычерпала из

него любовь, сострадание, добросердечие к людям. А госпиталь отучил принимать чужую боль как свою. Сердце зароптало от жестокой несправедливости. Ваня встрепенулся, вызывая спасительную злость, – да, раньше он был добр ко всем людям, даже к тем, кто делал ему худо. Наивно полагал, что на свете добрых людей больше, чем злых. Война разом лишила иллюзий. «Милые люди, что же вы со мной сделали?» – обмирая сердцем, сказал себе Ваня. И не получил ответа. Тоскливо защемило в груди от невозможности вернуть прошлое.

«И это не вся правда», – сказал себе Ваня. Между прежней и этой жизнью лежало теперь бездонное ущелье. И весь народ он поделил как бы на своих и чужих. Хороших, стоящих людей, вроде, не сильно убавилось, но как-то разом выказались злыдни и пакостники, дотоле прячущие и нутро свое, и дела свои.

Раньше Ваня пытался да не мог разобраться в том: рождаются ли люди сразу жестокими, сеющими зло и мерзости, или становятся такими после. А сейчас ему тем более не разобраться. Война в нем многое искорежила и переломала. Так запах теплой крови перебивает тонкие ароматы горных трав.

В горах и среди своих встречал Ваня довоевавшихся до ручки. Тех, кто мог пристрелить любого встречного ни за понюх табаку. За неосторожно сказанное слово, за косой взгляд. Но это только непосвященному могло так показаться – ни за что. Шел, встретил, передернул затвор, вогнал в человека очередь. А на самом деле зверь, таившийся дотоле в человеке, опьянел от крови, и совладать с ним было уже нельзя.

Враги были не в счет – большинство тех, с кем они воевали, вообще существовали в отличном от русского разумения пространстве. Для них, казалось, само время застыло. Ваня не скоро перестал поражаться их первобытному коварству, жесткости и изуверству. Понимал, но так и не отучился удивляться и другому: как быстро поддавались злему наваждению иные соплеменники, как легко впитывали кровную месть, столь чуждую его народу.

Ваня их не осуждал. Потому что как знать, не выпрыгнет в следующую минуту из тебя или твоего боевого товарища осатанелая тварь. Да и у кого ум за разум не пойдет, когда истерзанным друзьям глаза закрываешь. После года боев он и сам стал путать где добро, а где зло. Психика не выдерживала стоять на пограничье. Но одно знал верно: те, кто прошел войну, забыть ее не могли. Покрепче духом, носили в себе, испепеляя сердце, те, кто послабже, вспыхивали порохом, сгорали. Об этом ему рассказывали многие, вернувшиеся в горы по своей воле. Ваня же инстинктивно боялся пропитаться ненавистью. Знал, что погибнет даже не от пули или осколка, от одного ее злого дыхания, если совсем оставит его доброта.

Ваня оторвал взгляд от темного окна, приказывая себе не думать. Но это было равносильно отказу от той страшно тяжелой военной работы, которую не смог бы делать по принуждению. Из чего следовало, что выполнял он ее вполне сознательно и добровольно. Воевал как мог. Захваченный жуткой стихией, ввинченный внутрь смрадного вихря, среди гула, дыма да огня, не пропал, сумев остаться самим собой. И не он один уцелел, попав в самое горнило. В одиночку ему нипочем бы не выдержать эту войну. Но жестокая наука для него не прошла даром. Теперь Ване приходилось заново учиться любить людей, и русских прежде всего. Любовь к ним совсем не могла исчезнуть, но, представлялось, держалась на одной тонкой ниточке. И зависела теперь от каждого им встреченного по пути домой человека. Все могло быть по-иному, если б возвращался вместе с теми, с кем бок о бок провоевал два года.

В их десантном батальоне, среди солдат и офицеров, существовали особые отношения. Проще было бы назвать их фронтовым братством, но Ваня давно с подозрением относился ко всякому братанию. Главное, здесь жизнь для всех была устроена одинаково. И не было места слабым и ущербным, уставшим быть русскими.

«Так-так», – медленнее пересчитали стыки колеса, локомотив с осязательным усилием потянул вагоны в гору. Ваня поднялся с полки. Болтовня попутчиков ему смертельно надоела – они без конца гоняли по кругу одно и то же – подсмотренную на станции смерть.

– Ты бы языком не трепал, накликаешь на свою голову, – тихо и отчетливо сказал Ваня мужику.

В купе воцарилась напряженная тишина.

– Чего? – недоуменно протянул мужик, привыкший к молчанию безответного парня.

– Думаешь, вот так просто уехать от смерти? Так знай, она еще долго витать будет над нами...

– Нет, он точно малахольный, – начал взвинчивать себя мужик, но с каждой секундой терял напористость, – учить меня будет, байки мне тут рассказывать...

– Как знаешь, я тебя предупредил, – уже безразлично произнес Ваня и вышел в коридор.

С пустомелями только время попусту терять – они слышат лишь себя, бросают почем зря слова на ветер, не в силах постичь их глубинный смысл. Такое знание им недоступно. Как не всякому дано перед боем разглядеть на лице товарища бледную печать смерти. Ваня умел видеть и знал, что уже ничего нельзя поделать. Ни прикрыть, ни уберечь, ни повернуть вспять. Будто кто уже вычеркнул товарища из списка живых и занес в список обреченных. И эту темную тайну никто еще не смог разгадать.

Медленно вышагивая из одного конца вагона в другой, Ваня всем израненным боком чувствовал в какой стороне горы. Оттуда холодом веяло.

В пустынном тесном коридоре легко отрывался Ваня от дольного мира, уходя в мир горный. Внутренний взор уводил его глухими ущельями, поднимал над скалами к самым вершинам и вновь прижимал к земле, заглядывал в пещеры и расщелины. Горы были величавы, красивы и обгажены кровью его друзей. Страшно признаться, но сердце прикипело к диким местам, а что не давало оторваться – ненависть или любовь – разобрать не мог. Еще каждая клетка его тела хранила опасные звуки: шуршание осыпающегося под ногой камня, густой шелест зарослей кустарника, грохот горной реки, тревожные вскрики птиц. Но уже забывались, стирались в милосердной памяти и стылая грязь, и палящий зной, и едкие запахи солярки, сгоревшего пороха. Вытеснялись суровой красотой гор, которые надо бы ненавидеть, а хотелось полюбить. Он сопротивлялся этой влекущей силе и теперь лучше, чем когда-либо понимал, почему на войну возвращаются те, кто, уезжая домой, клялись, что никогда не вернуться в эти края. Ваня перестал мерить шагами коридор, уткнулся лбом в холодное стекло окна. Перед глазами вновь встали заснеженный перевал, обледенелые скалы, сиренево-розовый снег, искрящийся свет, льющийся с близкого неба. Вымотанный тяжелым переходом, он стоял на вершине, смотрел в прозрачную бесконечную высь, открывая для себя истину, что и на самой высокой горе до Бога не ближе.

Вагон спал, а у него еще вся бессонная ночь впереди была. Ваня вернулся в купе, достал из вещмешка пакет с бинтами и лекарствами, отправился на перевязку. В тусклом свете толком не рассмотреть – стягивались ли швы на ранах, холод поторапливал, пробирал до костей. Но, кажется, пошел на поправку: раны стали меньше кровянить. Перетянул напоследок тело крест-накрест свежим бинтом, как в чистое переоделся. Радоваться бы надо, да мучила его контуженую голову мысль, что порвал его тело не вражеский металл и не из чужеземного ствола выпущенный. Русскими мастеровыми руками выкованный и в горы доставленный. На войне он особо не задумывался над тем, а тут вроде как обидно стало. Но у самых дверей купе себя одернул – остатки разведгруппы огнем свои накрыли. Сами же и вызвали удар батареи на себя. Так и выхода не было, как вместе со всеми погибнуть, прихватив с собой еще десяток-другой осатаневших боевиков. В полной уверенности, что даже их мертвые тела извергам не достанутся. Чтоб им всем ни дна ни покрышки, хотя грешно так сказать – у них и так не по-христиански хоронят.

Убитым ребятам теперь уж все равно, как и что произошло. Ему же нет. Ваня теперь один на целом свете имел право оценивать этот их последний бой. По своей солдатской мерке – все ли они сделали для того, чтобы выжить.

Глава 11

В последний день своего пути Ваня светло проснулся. Долго лежал, не отнимая головы от подушки, один в опустевшем купе. Улыбался своему дивному настроению. Пытался вспомнить, что же ему такое хорошее снилось, да не смог. Наконец осторожно поднялся, не расплескивая нечаянной радости, уселся за столик и стал смотреть, как летит красное солнце над таежными хребтами, подвигая день к вечеру. Впервые за долгое время не обмирало огрубевшее сердце и будто ужались телесные боли-страдания. Стягивалось время, сжималось расстояние, считанные часы оставались до назначенного срока, когда, переступив порог родного дома, сможет сказать себе: выжил и вернулся.

Сравнить это чувство Ваня теперь мог разве что с ощущением удачно проведенного рейда – когда до базы всего один перевал и остается, да напролом не пойдешь, как бы усталость ни мучила голову. Средь скал, зеленки они бесплотными призраками просачивались. До последнего, пока у своих не оказывались, не позволяли себе расслабиться. Оттого и потерь почти не имели, разве что случайно кого зацепит осколок неприцельно пущенной мины или пуля достанет рикошетом. В своем батальоне же, доложив о выполненном задании, падали на окаменевшие от ожидания постели и засыпали мертвецким сном. Даже самые большие командиры не могли себе позволить поднять их без надобности – знали, как трудно двадцатилетним мужикам засыпать выполненную работу. О том, что она на совесть сделана, начальники зачастую задолго до появления разведывательно-поисковой группы узнавали: из радиоперехватов, а еще вернее, из очистившегося на беспокойной частоте эфира. Случалось, благим матом кричали ребята, воюя и во сне, а пробудиться не могли. Да и где ж им, намолчавшимся, нашептавшимся, было выкрикаться, как не у себя в расположении?

Далеко-далече остались окайнные края, о которых Ваня без особой нужды вспоминать не желал, вот только воспоминания сами, не спросясь, в память вламывались. Лишали душевного покоя, не давали выздороветь. Мало кому из его сверстников достались подобные терзания, да и не дай Бог кому испытать, но и с ними, в конце концов, можно стерпеться. Другим и того не осталось.

Ваня осторожно вздохнул, прислушиваясь к себе, – нет, не пропало замытое войной чувство. Вызревала радость. Да вдруг горным обвалом обрушился на голову грохот. Замелькали рыжие фермы железнодорожного моста, нависшего над извилистой рекой. Поезд стихил ход. Скрип тормозных колодок оборвался у перрона станции, и тут же в тамбуре гулко хлопнула дверь. Свежий весенний воздух затопил коридор, заполнил все купе, и Ваня жадно втянул его в себя. Голову медленно вскружил терпкий запах оттаявшей земли, сладкой речной воды, тонкого печного дымка и еще чего-то невыразимо родного и теплого – как бы воробушкина гнезда, спрятанного за нагретым солнцем оконным наличником. Ваня, не отводя глаз, смотрел в окно на вовсе уже привычные места: по эту сторону вагона тянулась неширокая пойма, и на берегу неведомо как звавшейся реки некучно грудились старые избы, окруженные лиственницами и соснами. Обострившимся на войне взором Ваня рассмотрел сначала пышную крону кедра, нависшую над крышей крайнего дома, проблеск чистых оконных стекол по-над палисадом и тут же тоненькую фигурку девушки, распахнувшую калитку, и даже различил ее милое лицо, с которого, показалось, глянули на него большие темные глаза. И сильнее качнула сердце упругая волна узнавания своего и родного. Но тут поезд дернулся, смешал звуки и запахи, покатил, набирая ход, все быстрее отдаляя и уменьшая фигурку девушки, дома, широкий луг в редких белых проплешинах. Там, откуда он ехал, уже сады отцветали, а здесь, на родной сторонке, все еще снежком пробрасывало.

И еще некоторое время недвижно сидел Ваня на вагонной полке, охваченный забытыми чувствами, испытывая себя желаниями во всей полноте ощутить ушедшее. Но не мог, потому

как не совсем еще вернулся со своей войны. На ней он не позволял себе впустить в сердце тоску, даже в малости связанную с прежней мирной жизнью. Знал, стоит поддаться сладкой слабости, настигнет неминуемая гибель. Потому в горах заставил себя забыть обо всем, что не касалось войны, даже о том, что один он у матери остался. Но, задавливая в себе нежные чувства, закручивая нервную пружину до отказа, всегда подсознательно понимал – именно потому он и обязан выжить. Никто, кроме его боевых товарищей, не смог бы осознать этого полного отказа от всего того, что невидимыми нитями притягивает к родному гнезду. Ваня же даже в письмах матери ни разу не обмолвился, что скучает по дому, – лгать не хотел ни ей, ни себе. Эта жестокая правда была только его, и ни с кем ею делиться он не собирался.

Да и теперь с трудом отходил от пережитого. Смотрел, облокотившись о столик, как подступает синий вечер, приглушая снежные натеки у берегов реки, и довольствовался малым – что слышит тишину, в которой купается пробудившаяся земля, не мешает даже перестук колес, что попутчики не докучают пустыми разговорами. За весь долгий путь в купе перебивало их немало, и редкий из них не досаждал любопытством, от которого Ваня не то чтобы раздражался, но сильно уставал. Отвык за годы войны от никчемного и суетного. А скорее, срабатывала привычка не высовываться, не болтать лишку, не привлекать неосторожным движением опасность. Там, в горах, казалось ему, самый слабый звук не таял и каждый в свое время достигал вражеского уха. Опыт этот Ваня привнес и в мирную жизнь, справедливо полагая, что расслабляться не гоже и после войны.

Всю дорогу Ваня настраивал себя на встречу с родным домом, до которого, было, потерял уж всякую надежду добраться. Но не мог избавиться от состояния безразличия, пустоты и равнодушия. Не покидало ощущение, что поезд везет не туда, где его ждут. Тем более удивительно и странно, что эта незнакомая девушка, которую он никогда больше не увидит, вдруг вызвала такую щемящую сердце тоску, пробуждая пережитые когда-то чувства. И во всей беспощадной наготе открылась ему правда, что вся прежняя довоенная жизнь, все, что с ней его так прочно связывало, безвозвратно утрачено. Но признать, что два с половиной года, прожитых на войне, потеряны навсегда, Ваня был не в силах. Ведь не помимо собственной воли вырвали его из своего и погрузили в другое, может быть, вовсе ему не предназначенное время. Твердо знал, куда и зачем шел, да и теперь не отказался бы. «Знать так было писано на роду», – сказал себе Ваня и отвернулся от окна. Нельзя было ему обо всем этом долго думать, как нельзя человеку без меры печалиться. Он это подсознательно знал и пытался потихоньку-полегоньку отдалять от себя войну, втискиваться в новую жизнь.

Глава 12

Вагон мелко подрагивал на быстром ходу, и дрожь эта пробудила в Ване неприятное беспокойство. Он вдруг спохватился, что нельзя в таком жалком виде появляться дома. За неделю пути его военная форма измялась, будто он не в купейном вагоне ехал, а день и ночь гонял по горам по долам на бронетранспортере. Ваня тяжело вздохнул – обмундирование не годилось для встречи, но иного не было. Какое выдали в госпитале при выписке, в том и возвращался, спасибо, что удалось разжиться двумя новыми тельняшками. В медсанбат его вообще только в окровавленных лохмотьях доставили, один лишь серебряный крестик чудом уцелел на шее.

По первости Ваня безотчетно обминал эту непривычную ему форму, будто новобранец после бани. Все казалось, с чужого плеча досталась, но после притерпелся. Теперь вот истек его долгий путь, надо было приводить себя в порядок. Снял с крючка камуфляжную куртку без всяких знаков различия, морщась, втиснул в рукава исхудавшие руки: когда-то крепкие, накаченные, способные одним ударом сокрушить живое и неживое. Вздохнул тяжело – что с руками стало! Сжал и разжал несколько раз кулаки. Будто подменили – вместо упругих жил сквозь бледную истончившуюся кожу просвечивали тоненькие голубенькие жилки – от шприцев да

капельниц вены попрятались далеко вглубь. Куда только, ведь кажется, и плоти-то совсем не осталось – кости да кожа.

Посидел еще чуток, собираясь с силами, вздыхай не вздыхай, от тяжелых вздохов форма не расправится – выбрался из-за столика, стараясь не потревожить дремлющих попутчиков, и, принаравливаясь к качке вагона, неторопливо вышел из купе. Он совсем недавно научился этим бережным осторожным движениям и даже не пытался доказать, что раньше годился на большее. Прежде всего, самому себе, а какие впечатления от его шаткого передвижения испытывают остальные, Ваню мало трогало. Не до жиру – быть бы живу.

Шаркая растоптанными больничными тапочками, добрал до служебного помещения, коротко стукнул в запертую дверь. Дождался, когда дверное полотно бесшумно отъехало в сторону, и тихо сказал в теплую полутьму:

– Погладиться бы... – нимало не смущаясь, что опешившие проводницы враз отвели от него глаза. Давно уж свyksя с тем, что не по нраву людям его жалкий затрапезный вид. А и в ум взять не мог, что от взгляда серых прозрачных глазищ, обведенных темными полукружьями, у людей мурашки бегут по коже. Мало кто мог его выдержать. Какая-то недоступная человеческому пониманию сила, какое-то неведомое потустороннее знание таились в глубине этих глаз. Ему бы тоже научиться уводить их, пряча взор, да некому было подсказать, что добрые люди так не смотрят.

– Всего-то, а я думала, случилось что, – облегченно выдохнула старшая проводница, не поднимая глаз, зачастила утончившимся голосом: – Ты заходи, заходи к нам, присаживайся, в ногах правды нет, сейчас приведем тебя в порядок, – сбилась со скороговорки и неожиданно твердым баском скомандовала напарнице: – Люся, забирай одежду и бегом в штабной вагон! А я пока тут с солдатиком посижу, чаем его напою.

Ваня молча стянул с себя камуфляж, неторопливо завернулся в протянутую проводницей простыню. В госпитале належавшись, от многого отвыкаешь, к примеру, стесняться своей наготы. Осторожно принял обжигающий ладони стакан, вставил в подстаканник и мелкими глотками стал пить густой сладкий чай. Тихо было в купе. Лишь тонкое стекло постукивало о легкий металл да двоился перестук колес. Женщина, подперев ладонью подбородок, смотрела в окно, терпеливо дожидаясь – заговорит, нет ли с ней Ваня. Знала, что первой разговор начинать, только попусту слова тратить. От самой Москвы парень неприметно ехал: ничего не просил, ни на что не жаловался, ни с кем сам не заговаривал. Каких попутчиков ни подселяла к нему в купе, со всеми одинаковые отношения устанавливал – никакие. И на этот раз, похоже, не дожидаться ни словечка. Достала круглую пачку печенья, задумчиво надорвала заморскую упаковку, машинально и себе налила чаю. Как если бы, попивая чай, молчать было сподручнее.

А Ваню давно уже молчание не тяготило. Народ в его купе менялся часто. Не успеешь привыкнуть к одним, уж другие входят знакомиться. Но едва попутчики покидали вагон, память тут же стирала их имена и лица. Да и не мудрено, если знать, в каком состоянии его посадили в поезд, – тут не то что других, себя бы не забыть.

Не прошло и полчаса, вернулась Люся, внесла в купе тщательно вычищенную, пахнущую горячим утюгом форму. Ваня неторопливо облачился в едва ли не хрустящие одежды и лишь помотал головой в ответ на предложение:

– Может, тебе еще что надо, ботинки почистить? У нас обувной крем есть хороший, немецкий...

Новые ботинки, которые ему привычнее было называть по-военному – «берцы», просто-яли за ненадобностью под полкой всю дорогу. Из вагона Ваня не выходил, а для коротких прогулок по коридору хватало госпитальных тапочек, предусмотрительно сунутых в вещмешок товарищами по палате.

Темное зеркало окна отразило в призрачной глубине его бледное лицо, худые плечи в пятнистой форме. Ваня отвел глаза от затененного стекла – нечего себя пугать, и вышел из

купе, провожаемый благодарными женскими взглядами, будто он им тут все белье переглядел и платы не взял. Но Ваня давно сполна заплатил за такое необычное к нему отношение и принимал его как должное. Недолго уже оставалось ему ехать в опостылевшем вагоне – докоро́тать вечер да прихватить чуток ночи. Поезд, вызнал он, прибывал на нужную ему станцию по прежнему расписанию – за полночь. И это его устраивало – хоть в такой малости, да сохранялся порядок, устоявшийся в исчезнувшей мирной жизни.

Ваня аккуратно разложил выглаженную форму на свободной верхней полке и вновь забрался под одеяло. Теперь уже совсем ничего осталось потерпеть.

Глава 13

Вечерело. Окно без света превращалось в обычную деревянную раму со стеклом. На короткий миг сдвинулось, поплыло, неуловимо исказилось пространство. Преображался окружающий мир. Ранние размытые огни потерянно мелькали в синей мгле, и нельзя было определить, далеко ли до них, близко. Шемящая тоска наполняла грудь. Стоило дать потачку печали, как тут же будто кто припадал к окну. Жадно всматривался бездонными темными очами и, отпрянув, растворялся, чтобы вскоре глянуть опять.

Ваня пожегся, ощутив безысходное чувство потерянности и сиротства. В вагоне включили освещение. Но ночная тьма уже проникла в купе и легла по углам. В проем открытых дверей он видел, как пассажиры ходят по коридору, готовятся к ночлегу, а некоторые к выходу на своей станции. Ваня наблюдал за их хлопотами и неторопливо думал о том, что нет ничего на свете, что могло бы заменить любовь. Что, в конце концов, все в этом мире держится на любви. Но поведать об этом было некому. Да и зачем, какие еще нужны слова. Все уже давно сказано. Раскрой свое сердце да познай радостную спасительную силу.

Утомительно было размышлять обо всем этом в одиночку. А высказать было некому. Не начнешь же разговор с первым встречным, и так народ косится. И чем ближе был дом, тем дольше казался путь. К концу пути Ваня не то чтобы стал изнывать от одиночества, но испытывать нужду в собеседнике. Устал от скучных попутчиков, которые лишь удлиняли дорогу. И уже не терзался мыслями, что не может, как раньше, раскрывать свое сердце людям. Была и разница: после войны он о многом не готов был говорить безоглядно, о чем раньше рассуждал, не задумываясь. Лишь от одной щедрой жизненной радости.

Ваня теперь всех невольно сравнивал с ребятами, погибшими на высоте. Возвращая их памятью из немыслимых далей. Ни один из этих парней при жизни не был ангелом, но никто не мог поколебать его твердой уверенности, что каждый из них был достойнее оставшихся в живых. Как тут было не кручиниться: лучшие уходили из жизни.

На войне жизнь Ване спасло то обстоятельство, что он был рожден воином. И его не надо было учить тому, как обратить свой страх на врага. Но в батальоне похрабрее его бойцы гибли. Не каждому неопытному сердцу открывалось, что враг имеет свои, отличные от их, представления о добре и зле. А потому сражаться с ним надо без пощады и без раскаянья. Это жестокое для мирных людей знание было омыто своей и чужой кровью и не подлежало сомнению. Но и его не хватило бы, чтобы выжить. Победить злобного врага было можно, но гораздо труднее – сохранить при этом русское извечное понятие добра.

После Нижнеудинска в очередной раз опустело купе. «Вот и хорошо, вот и ладно», – сказал себе Ваня, плотнее укутываясь одеялом. Необыкновенно сладкая дрема взяла его. Да и то понятно – до дома рукой подать. Пробудил его резкий толчок. Поезд на минуту притормозил на какой-то малой станции и рывком сдвинулся с места. Набрал вскоре привычный плавный ход и вновь укачал Ваню. Но ненадолго. Он вдруг почувствовал себя неуютно и, не открывая глаз, понял – опять не один. И лишь затем неприятно удивился – как он мог пропустить ново-

явленного попутчика? Такого с ним давно уже не случилось. Он и во сне отслеживал передвижение любого пассажира. Этот же как сквозь стену просочился.

Напротив за столиком сидел ладный крутолобый мужик и увлеченно читал книгу в глянцево переплете. Ваня глянул на его твердо вылепленное обветренное лицо и наткнулся на цепкий взгляд серых глаз. И точно невидимая нить тотчас же соединила их. Как если бы неизвестный был одним из тех, с кем он прошел эту войну. Одно только беспокоило – ощущение, что мужик будто уже знал, кто перед ним, а Ваня – нет. И ввел тем самым Ваню в замешательство. Неподвижно лежал, не желая подниматься, сохраняя тепло под тонким одеялом. Попутчик молчал и не сводил с него внимательных глаз.

Дождался, когда Ваня вновь ответит сердитым взглядом, отложил книгу, улыбнулся уголками губ и сказал так, будто продолжил только что прерванную сном беседу:

– Поднимайся, служивый. Проспишь все царство небесное. Обедать пора.

И встал, потянулся всем своим гибким сильным телом. Но глаза его по-прежнему смотрели серьезно и испытующе.

Ваня не шелохнулся. Равнодушно отвел глаза, не выказывая досады. Тоже командир нашелся. Все Ванины командиры уже в земле лежат. Мужик терпеливо выждал минуту, как ни в чем не бывало продолжил:

– Тебе шевелиться больше надо, а для того, чтобы двигаться, необходимо хорошее питание. А то лежишь тут, мерзнешь, голодный, поди. Можно подумать, уморить себя решил. Вставай, вставай...

Ваня ошалел от такой дерзости и не нашел ничего лучше, как ответить:

– Ну что за люди, умереть не дадут спокойно, – и отвернулся к стенке.

– Все потом: жить, помирать. А прежде я тебя накормить должен, – сказал незнакомец и поинтересовался: – Так не хочу или не могу?

– Не хочу, – глухо ответил Ваня.

И замкнулся, не в его правилах было питаться за чужой счет. Про запас у него оставалась еще целая банка тушенки, полбуханки черствого хлеба. И денег хватало на чай с сахаром.

– Хотеть не вредно, вредно не хотеть.

– Лучше отстань, – вежливо посоветовал Ваня и посмотрел своим кротким взглядом, от которого мурашки ползут по коже. Но мужик оказался крепкой породы.

– Я тебя понимаю, со мной поначалу тоже случилось. Когда меня сильно доставали, испытывал горячее желание встать и отметелить от души. Теперь прошло. И у тебя пройдет, дай только срок.

И пробудил в Ване веселую злость.

– Как же, тебя отметелишь. О твой лоб поросят бить можно. Полгода назад я бы тебя заломал...

– ...но сейчас мы с тобой в разных весовых категориях, – продолжил незнакомец, пригладив тронутые ранней сединой волосы, – а потому, давай поедим, я сутки уже одним чаем пробавляюсь.

Привезли меня худого
к знаменитому врачу
и спросили: «Чем ты болен?»
Я заплакал: «Есть хочу!» —

вдруг пропел он и добавил:

– Это про всех нас, – наклонился и, глядя в упор, неожиданно спросил:

– Жить-то есть чем?

– Да уж как-нибудь до дома дотяну, – сухо ответил Ваня и запнулся, оценив смысл вопрошаемого.

– Тогда держись. Худо, когда жить нечем. Заруби себе раз и навсегда, что русский человек должен не только уметь давать, но и с благодарностью принимать. Кто сказал, не помню, но верно на все времена. Василием меня зовут, – и протянул ему руку.

– Иван, – назвался Ваня, понимая, что теперь отказаться от его предложения он не сможет. Василий оказался сильнее духом, а против такой внутренней силы другой не найти. Подкупала его манера говорить и действовать. Он еще не выяснил, кого встретил на своем пути, но уже испытывал необъяснимую симпатию к человеку, неуловимо напоминавшего ему погибших друзей и его самого.

– Ну вот, совсем другое дело. Быстренько собирайся и идем в ресторан. Там, я узнал, не готовят разносолов, но кормят сытно, обслуживают вежливо, встретят как дорогих гостей. В общем, ныне не то, что ране.

Ваня с трудом поднялся, скованный подсохшей повязкой, снял с крючка куртку. Василий придержал его за плечо, пробежал легкими пальцами по спрятанным под тельняшкой бинтам и профессионально на ощупь определил характер ранений.

– Ничего себе отметины! То-то, думаю, ты квелый такой. Где штопали? Во Владикавказе или Ростове? А, везде едино, подлатали и выписали!

– Не отпускали, еле вырвался, – вяло ответил Ваня, теряя интерес к разговору.

– Ну-ну, не угасай! – почти приказал Василий. – Ты мне еще сегодня понадобишься, а там, глядишь, и я тебе сгожусь.

И они отправились в вагон-ресторан, благо идти недалеко было – всего два перехода. Ваня равнодушно оглядел полупустое помещение и, не выбирая, занял ближайший к входу столик. С непривычки неуютно чувствовал себя в таких веселых заведениях. Василий же уверенно прошел к стойке и за минуту управился с заказом. Официантка в белом передничке только успевала чиркать карандашом.

– Водки выпьешь? – поставил Василий на стол графинчик и энергично потер крепкие сухие ладони.

– Самую малость, душа не принимает, – машинально ответил Ваня, раздумывая над тем, отчего ему кажется, что он уже где-то слышал раньше его голос. И внезапно сообразил – такие хриплые интонации можно приобрести лишь там, на войне. И отличить их мог лишь тот, кто сам воевал.

– Ух, и голоден я! Да и всякая живая душа калачика хочет, – наполнил Василий рюмки.

– В горах был? – утвердительно спросил Ваня.

– И они меня не забудут, – рассеянно ответил Василий, изучая рюмку с ее содержимым на просвет. Но тут же будто очнулся и добавил: – Не там, где ты. И так давно, что все кажется химерой, и это помогает жить. Ну, будь здоров!

И, не чокаясь, одним глотком выпил холодную водку. Официантка споро накрывала стол. Ваня терпеливо дождался, пока она уйдет. Пододвинул к себе чашку с аккуратно выложенной горкой салата и начал есть. Давно он не ел так вкусно. Да и немудрено – он теперь на весь мир без всякого аппетита смотрел. Не до еды ему было. Рюмка холодной водки ожгла горло, приятной теплотой растеклась по телу.

– Человек пьет с голоду. Накорми его, он и пить перестанет, – задумчиво сказал Василий, отодвигая пустой салатник. – Ты на меня внимания не обращай, если что невпопад скажу. Читаю в последнее время захлеб, наверстываю. Узнаю то, о чем раньше мог только догадываться. Чего молчишь?

– Я думаю...

– Согласен, есть разница, – не дослушав, сказал Василий и принялся за борщ. – Не увлекайся только, многое из того, над чем голову ломаешь, давным-давно сказано. Жил бы человек

по Божьим законам, а следовательно, по совести и по правде, не испытал бы столько бед и мучений. Ведь все уже произнесено и растолковано как малым детям в Священном Писании. Но наш расхристанный мир не чтит заповеди и получает наказание. С завидным, между прочим, постоянством. Ту же войну.

– Всех не накормишь. Сытый голодного не разумеет, – вставил, наконец, Ваня. Он хорошо понял, о чем хотел сказать Василий, но не хотел перебивать.

– Голодный сытого тоже, отсюда раздоры и бесчинства.

Василий ел быстро, как ест человек, ожидающий команды: подъем, выходи строиться! Но ни на минуту не упускал нить разговора. Легко с ним не было. К тому же взгляд его все время как бы сторожил Ваню, испытывая, на что годен раненый солдат. Или это только так ему казалось? Но уж тут ничего не поделать – сам ощущал, что вид у него еще тот: жалкий и болезненный.

– Слушай, Василий, – не выдержал Ваня, – ты честно скажи, я со стороны совсем доходягой смотрюсь? Надоело ловить на себе жалостливые взгляды.

– Как тебе сказать, чтобы не обидеть. Выглядишь ты не ахти, но что-то в тебе есть такое, никак не пойму, в общем, жалеть тебя себе дороже. Я бы поостерегся.

– Одыбал, значит. Ничего, я еще всем им станцую, с выходом из-за печки.

– Кому всем? – с неподдельным интересом спросил Василий.

– А тем, кто на нас смотрит искоса, шипит с подковырочкой: знаю, знаю, чем вы там на войне занимались. Я им теперь быстро растолкую, что не убивают они сами только потому, что за них это делаем мы.

– Мой тебе совет – не горячись, Ваня. Это цветочки, а ягодки нам достались, когда мы из-за бугра вернулись. Бог им судья. Да еще какой судья. Но ты меня удивил. Суп не съел, а уж за стяжок взялся.

– Я и не собираюсь открывать против них боевые действия. Просто раньше сглотнул обиду и пошел, а теперь знаю что ответить.

– А все оттого, что у нас виноватых нет. Вроде, война сама по себе пришла и отчего-то никак не кончается. Жили себе не тужили, и вот тебе на, накатила! И каждый, а особенно порошу не нюхавший, виноватит кого угодно: врага – он начал первый задираться, правителей – поддались, сил не рассчитали. А ведь еще задолго до первой стычки по пылинке, по щепотке эта война собиралась. Может быть, да что может быть, так и есть – сами и поспособствовали. И те, кто стрелял, и те, кто жмурился. Не мне судить, я ж из стрелков, но что-то не так устроено в нашей жизни, раз за отчизну воевать стало зазорно.

Круто складывался разговор. Но Ваня такого собеседника давно искал, и Василий ему на пути не случайно встретился.

– В душу же к нам не заглянешь, верно, Ваня? – помолчав, добавил Василий.

– Да и всякого не пушу.

– Я, брат, не сразу понял, что эта кавказская война для нас, русских, вовсе не наступательная, а оборонительная. А как сообразил, терзаться перестал. А до того телевизор перестал смотреть, газеты не читал – никаких нервов не хватало.

– Мы там не в окопах отсиживались, – отдельно и твердо сказал Ваня. – И я «духов» в горах бил, а не ждал, когда они по мою душу явятся.

Василий посмотрел на него долгим испытующим взглядом.

– Чего не знаешь, о том не горюешь. Ты вот сейчас так сказал, что у меня аж холодок пополз по коже. Я уж, грешным делом, начал думать, что в нас, русских, одно терпение и осталось. Ан нет, в тебе еще что-то есть.

– Смирение, – подсказал Ваня.

– Долго думал? Тоже мне смирныга выискался. А как же с выходом из-за печки?

– Одно другому не мешает. А без смирения в человеке нет и достоинства, – добавил Ваня, и Василий удивленно замолчал.

– Тогда выходит, что тебя и унижить невозможно? – соображал он быстро.

– Пробовали некоторые.

– Ну, это мне уже больше нравится.

Ваня осторожно поднес ко рту ложку. Ел он медленно. Вагон раскачивало из стороны в сторону, и он перетерпывал ноющую боль в боку.

– Ты ешь, ешь, а я тебя пытать буду. Мне понять важно – ты тоже одиноким волком оттуда вернулся, как я в свое время, или нет. У каждого ведь своя война. У меня была одна, у тебя – совсем другая.

– Чего ж мы тогда такие похожие? – ввернул Ваня.

Станный был разговор, будто они его когда-то давно, где-то в горах, начали, а закончить не могли. И Ваня вдруг отчетливо понял эту странность, – в разговоре они даже не упоминали, кто где воевал. И это само по себе было удивительно – те, кто прошел горячие точки, встречаясь, не могли избавиться от воспоминаний, кружили одними и теми же тропами. Подтверждалась его догадка – шла одна нескончаемая война, в которой и он, и Василий, и другие попеременно принимали участие.

– Ты не уводи меня от главного. Я тебе про оборону, ты мне про наступление. На этой войне мы крепим, не даем окончательно порушить свой ослабевший дух. Кто только не пытался выбить его из нас. В этом вот смысле и держим оборону. Наступать время не пришло.

– Да воюем мы плохо, иначе давно бы «духов» дожали, – отвечал Ваня.

– Воюем как можем. Вернее, как живем, так и воюем. И долго еще в себя не придем. Преуспели господа-товарищи – выпустили из народа кровушки.

– Что ж тогда полнокровные абреки так хреново воюют?

– А они и не могут, у них долготерпения нет нашего. Им нас никак не победить, потому что они нас и презирают и боятся одновременно. Это их и губит. Нельзя воевать за деньги, воровать, продавать людей, резать пленных и называть себя гордым воином Аллаха.

– В горах с кем только не сталкивались: арабы само собой, хохлы, прибалты, китайцы, даже негры. Продажные наемники. А до рукопашки дело дойдет, не могут они с нами на равных. В коленках слабы. Визжат, шеи выворачивают, глаза закатывают. Вот из-за угла ударить, это они могут, и в кусты. Вояки хреновы! Мы, пацаны, делали их, – помотал головой Ваня.

– Знаю, Ваня, но не выбираем мы себе врагов. Как говорится, на смиренного Бог нанесет, а резвый сам набежит. Я после Афгана недолго мирной жизнью пожил. Навоевался досыта.

Свое выстраданное знание Ваня и передоверить-то мог лишь таким, как Василий. Он лишь на зубок войну попробовал и перестал слушать тех, кто без удержу оправдывал ее, и тех, кто поносил безоглядно. А тем более тех, кто тихонько подвывал и вашим, и нашим. Нутром понял, все, подошел край русскому долготерпению. И лопнуло оно не случайно на земле, ставшей теперь для многих хуже горькой чужбины.

Но сколько людей не могли и не хотели принять этого. Им проще было и дальше безропотно и униженно сносить лишения, гнутья перед теми, кто беспощадно лжив, нагл и коварен. Из них лишь немногие по своей природной немощи. Большинство из-за ленивого равнодушия и душевной пустоты. Его народу предстояло еще долго выбираться из навешанного дурмана о всеобщем братстве народов. Какого никогда не было и не будет. Ведь нельзя же любить всех подряд и без разбора. Не различая достойных и недостойных твоей любви.

– И родные братья друг другу кровь пускают, – услышал Ваня голос Василия и вынырнул из забытья. – Ты, брат, говори да не заговаривайся. Я ошалел, когда понял, что ты сам с собой беседовать начал.

– Бывает, – пожал плечами Ваня, – наверное, от контузии меня замыкает.

– Я не из пугливых, но иногда и меня оторопь берет. Если и дальше так жить будем, сами станем безродными, изведемся по корень.

– Я только на войне осознал, как трудно быть русским, – ровно говорил Ваня, зная, что, может быть, более никто и никогда не станет так его слушать. – Истовым русским. У меня поначалу сердце обрывалось, когда видел, сколько кругом затурканных, униженных, пригибающих голову от каждого окрика, ожидающих милостыни. Сколько потерявших себя. Потом охладел и ожесточился. В силу вошел и с сильными только дело имел. А ведь слабые и падшие – это тоже наши люди. Вот и стало меня ломать: я такой, какой мой народ.

– Или народ такой, потому что ты такой? – переиначил Василий, и ответить ему было нечем.

– Вот потому и задумался, что такое смирение.

Ваня не мог сказать, когда оно проявилось в нем и переплывилось в достоинство. Знал лишь, что унижить его теперь невозможно, как нельзя на этом свете подвергнуть страданиям убитых друзей. Василий это верно определил, и сердце подсказало Ване, что он до него уже прошел этот путь.

Он ненавидел врага, но никогда не ставил себя выше тех, с кем воевал. Всех этих самолюбивых и гордых, уверенных в своем превосходстве над ним горцев. Не признающих его, русский склад ума и характера. Принимавших за слабость то, что на самом деле было силой его народа. Растолковать, что это за сила, он никому не пытался, не было у него таких слов. Для этого нужно было родиться русским, окунуться и постоянно обитать в этом невообразимо тонком и сложном эфире. Жить, невзирая на все перенесенные страдания, выпавшие на его долю. Сохраняя в душе тихую радость простого бытия.

Василий молча слушал, откинувшись на спинку стула. А Ваня все говорил и говорил. Он вдруг явственно ощутил тепло нагретой за день брони и неистребимый запах солянки. Услышал хруст шагов на каменистой обочине дороги на краю горного селения. И как бы вновь увидел, как невысокий, крепко сложенный чеченец неторопко идет к ним от ворот своего дома. Ваня настороженно следил за ним – мало ли что говорят, метнет такой мирный гранату – и поминай как звали. Через несколько месяцев войны он каждого встречного в горах предпочитал рассматривать сквозь прицел.

Чеченец, поздоровавшись, присел на корточки, спросил, не попадалась ли по дороге машина брата. Ваня скупно ответил, что видел похожую «Ниву» на блокпосту. Парень успокоился, сказал, что у них здесь тихо: ни федералов, ни боевиков. Постепенно, слово за слово, разговорились. И не запомнилась бы ему недолгая встреча. Но, собираясь уходить, тот посетовал, что жить из-за войны всем стало трудно, а кто-то из ребят в сердцах обронил, что сами, мол, во всем виноваты. Сухо щелкнул затвором автомата. У парня отвердели скулы, и он отчеканил: «Я горжусь, что я чечен!» Вокруг разом стихли разговоры. И в этой тишине ответ Вани прозвучал с неменьшим достоинством: «А я тем, что русский». Обменялись уважительными взглядами, попрощались и разошлись.

Позже он поверит в неслучайность этой встречи и осмыслит свои слова. Никогда прежде не осмеливался он высказывать то, что принадлежало лишь его сердцу. И все они там стыдились своей доброты и не стыдились своей злобы. Но сказал и начал задумываться, что мирно сосуществовать люди начнут лишь тогда, когда научатся через «не могу» понимать других. Что ненасытную войну нельзя обуздать диким бесцельным истреблением друг друга. Иначе на развод останутся одни слабые духом, немощные умом и хилые телом.

И за это тоже они, безусые мужики, сражались в проклятых горах. Воевали так, как умеет воевать лишь один русский солдат. Познать, почему и за что они бьются не на жизнь, а на смерть, было можно. Если хоть раз испытать, как кожу на затылке стягивает от ненависти к врагу. Как сохнут виски, немеет лицо после боя. Как невыносимо тяжело одному отвечать за

всех ребят, polegших на высоте, означенной на армейских картах, но не в памяти, мелкими цифрами.

Плавню, в такт движению, колыхались белые занавески. Василий их задернул, едва сели за столик. Словно проплывающий за окном вечерний пейзаж мог помешать разговору. Теперь он говорил, а Ваня слушал. И думал, как же ему не хватало всю эту долгую мытарную дорогу такого вот попутчика. Всей своей истончившейся кожей ощущал исходящую от него спокойную могучую родную силу. И уже как само собой разумеющееся принимал то, что Василий высказывает его мысли, порождаемые долгими бессонными ночами.

– Войну полюбишь – жизнь погубишь. Хорошо, что успел понять это вовремя. Пропал бы на чужих войнах, – Василий говорил спокойно, как о вещах обыденных. – Я, брат, как завязал с войной, чем только не занимался. Все искал, к какому подходящему делу приткнуться. Ведь одно умел хорошо делать – воевать. С городом не ужился, не по мне в лакеях ходить. Вернулся в родное село. Стал хозяином. Но это отдельная история, как строился, как отбивался от дармоедов, как, наконец-то, зажил по-человечески. И теперь у меня, брат, на берегу Ангары целая усадьба. А то как же: трех женщин прокормить надо. Размахнулся куда с добром. Живности разной развел – от коней до пчел. Все от тоски по настоящей жизни. Теперь на поденку приходят ко мне наниматься те, кто вчера сжечь пытался.

– По тебе не скажешь, – удивленно протянул Ваня, – скорее решишь, что ты какой-то фирмой управляешь.

– По мне так лучше фермой, – улыбнулся Василий, – а то у нас все деньги делают, а не дело. Я, Ваня, прежде остановился и перестал хлопотать. Избавился от внушения, что скоро все переменится к лучшему, что все мы вот-вот заживем достойной жизнью. Что грязь, холод, бардак – все это преходяще и исчезнет само собой, как загаженный снег по весне. Мне тревожно стало, что вся моя жизнь разменяется на пустяки. Сосредоточился и начал делать. С малого начал – пасеку развел. И как пчела, начал жить не одним днем, но каждым. Уловил разницу. И потянул, потянул лямку. Одно за другое цепляется. И то охота попробовать, и это. И там получается, и здесь выходит. Деньги пошли, но сначала пришла уверенность в своей могучности. Вот тебе и весь мой сегодняшний здравый смысл.

– Мир прост для дураков, для них закон не писан. Я вот тебя слушаю и понять хочу. Почему жизнь так несправедливо устроена. Одним, не успели родиться, – и любящие родители, и дом – полная чаша, и удача со счастьем пополам. Другим – ни мамы кормящей, ни отца негулящего, восемь классов захудалой школы. Мат-перемат, бери в руки автомат. Иди вой, может, человеком станешь. И воюет, хоть его от разных слабостей в стороны шатает. И вот из такого всем обделенного вдруг через пару месяцев толковый солдат получается. Будто и не испытал всех мерзостей домашнего замеса. Из благополучных мало кого в горах встречал, но на гражданке посмотрелся на таких фортунистых. Сколько их, ни за понюх табаку спустивших все, что им на блюдечке родители поднесли.

– А что легко дается, то легко и отнимается, – вставил Василий. – Ты сам-то себя к каким причисляешь? К обнесенным справедливостью?

– Ты меня лучше понимаешь, сам отец, как важно ребенка еще до его появления на этот свет любить, – словно не слышал его Ваня. – Ведь кто в любви родился, тот оберег имеет. И немало нас таких. В моем госпитале, в соседней палате, лейтенант лежал. Своими глазами не видел бы, ни за что не поверил бы. Пуля – дура, где ударит – там дыра. А тут угодила точнехонько в образок, который ему мать, провожая на войну, надела на шею. Обычный образок, из мягкого металла. Пуля его пробить-то пробила, и застряла. А насчет справедливости, извини, не по адресу. Я в армию с третьего курса университета ушел, можно сказать, вполне благополучный.

– По тебе не скажешь. Подзадержался ты на войне.

– Не скажи, ровно столько, сколько было отпущено. Отбыл и отбыл. А иначе убили бы, – мягко улыбнулся Ваня. – Знаешь, я на гражданке завидным человеком был. Таких, наверное, теперь уже нет. Верил, как дурачок, что если с добром даже к самому отпетому подойти, он отступится. Хотя на деле получалось совсем наоборот – он тебе в ответ на твое добро меж глаз норовит заехать или так оскорбить, что потом хоть вешайся.

– Ну, тебя теперь тронь, себе дороже. А так все верно, я тебя понимаю. И меня тянет на подвиги, не пропала охота добро делать. Вот только выскажу одно наблюдение из личного опыта: тот, ради кого ты старался, дней-ночей не досыпал, вытягивался в ниточку, вдруг сторониться начинает тебя. Сначала благодарность теряет, после уж вовсе начинает тебя недолюбливать. Если не успел это понять и поправить – потерял человека. Хоть никому не помогай. Отсюда вывод: прежде чем пытаться улучшать чью-то жизнь, исправь себя.

– Впасть в зависть легко, проще разве что в злобу. Никто же не хочет признавать свою никчемность и твою силу. Тем более, если недавно было наоборот. Куда ни кинь, везде клин. И я не знаю, что делать.

– Так ты уже все сказал: изо всех сил стараться жить достойно. И будь благодарным, благодарность очищает душу от всякой скверны. Знаешь, что помогло мне выкарабкаться, когда с войны вернулся и оказался никому не нужным. Когда уже, было, крест на себе поставил. Случай, – Василий помолчал секунду.

– Тот день я на всю жизнь запомнил. Сидел на лавке, водку пил, смотрел злыми глазами на весь этот мир, который не для меня цветет. Мимо священник проходил, остановился и мягко сказал: «Не ищи врага, он внутри тебя». И пошел себе дальше, а во мне все будто перевернулось. Так, благодаря ему, я и в церковь пришел, и к вере подвинулся, – мягко и светло улыбнулся Василий. – Но это давно было. Уже успел в своем селе церковь поставить. Не один, конечно, всем расхристанным миром помогали. Кто чем мог: кто хулой, кто радостью. Кто и последней копеечкой. Вот где и вызнал я свой народ. Стоит теперь на пригорке, издали подсвечивает небо куполком.

– Война все перемешала, где зло, где добро? Знаю лишь, что через страдания приходим к вере. Только мы все сейчас, как заспанные, протираем глаза, начинаем соображать – что проспали. И чего нас пытались лишить – веры в бессмертие души. А без этой веры нам не одолеть нашу разобщенность. Нас ведь так по кускам разберут.

– Уже не разберут. Не мы с тобой одни такие умные. Поверь, нас немало. Но при всем трагизме нашего положения, – неожиданно твердо сказал Василий, – нам уже сейчас надо опасаться не столь удара с чужой стороны, сколь изнутри, откуда его вовсе и не ждешь. Как бы тебе это объяснить. Ну, как если бы твой друг-товарищ, с кем ты на войне последним делился, взял да и пырнул тебя ножом в спину.

– Если только до белой горячки довоевался, – вставил Ваня.

– Согласен, пример неудачен, но я вот о чем. Боюсь, что когда мы, наконец, досыта наедем, напоим, обуем и оденем всех и каждого, тогда и грянет настоящая беда. Общество наше даже не взорвется, а тихо и пыльно рассыплется, как истлевший гриб-дождевик. Потому что некому станет крепить подорванный дух. Ты ж сам только что сказал: сытый голодного не разумеет. Нам и сейчас-то не дают опомниться, сосредоточиться в помыслах. Каких только чужеземных затей не подбрасывают. Весь хлам мира хлынул к нам.

– Да у нас и своих затейников хватает. Я одного такого, неизвестных кровей, послушал и за голову схватился, а лучше бы за автомат. Мы и такие, и сакые. Все беды от нас. И тут же с улыбочкой – извини, ничего личного.

– Не горячись, Ваня. И не злись на всех этих... господ. Они от бессилия своего талдычат про русский великодержавный шовинизм. У меня самого чуть сердце не поседело, пока сообразил, что к чему. И запомни: если в нас что и есть, так это – великодержавное терпение, смирение и стойкость во всех лишениях. Ты вот тоже пострадал за Отечество.

– Страдать не мучиться, – устало сказал Ваня.

Протянул руку и раздвинул легкие занавески. Окно выказало серебряный шар луны. Василий глянул на часы и покачал головой:

– Заговорились мы с тобой. Не заметил, как время пролетело. К Иркутску подъезжаем. Но что хотел сказать, сказал, что услышать – услышал. Закругляемся, Ваня.

Уже в купе, вскинув на плечо дорожную сумку, спросил:

– Да, Ваня, ты сам-то куда едешь?

– К маме, – осветилось Ванино обескровленное лицо слабой улыбкой.

– Счастливый человек. Лучше всего ехать к маме, – вздохнул Василий. – Ну, бывай.

На том и расстались. И встретятся ли когда – Бог весть. Россия большая, в ней у каждого свой уголок.

Глава 14

Все время, пока поезд дальнего следования стоял в Иркутске, Ваня, не отрываясь, смотрел из окна на оживленный перрон. Теплилась в груди тихая радость, и не проходило щемящее чувство родства. Будто брата повидал и расстался с ним ненадолго. Василий помахал ему на прощанье рукой, прежде чем смешаться с пассажирами у входа в подземный переход. А Ваня теперь верно знал, что отныне ему всегда будет душевная подмога, всякий раз, как останется один на один с темной звенящей пустотой.

Яркая луна плыла над неровной грядой чернеющего леса. Тонкий серебристый свет лежал на откосах пути, дрожал в ночном воздухе. За окном расступилась и тут же вновь стеснила железную дорогу тайга. Промелькнул знакомый железнодорожный переезд, проплыли пристанционные дома, высветилась вывеска «Подкаменная». И тотчас радостное нетерпение стеснило сердце. Ваня вспомнил, какой здесь свежий и пахучий ветер – по левую сторону за таежным хребтом скрывался Байкал и вскоре выкажет свой голубой оком. Вот-вот покажутся огни Ангасолки, а там рукой подать до Чертовой горы. И все – поезд дальше проследует без него. Ваня улыбался – да, то и мило, что защемило. Чем ближе к дому, тем быстрее возвращался он к себе прежнему.

И в этом быстром могучем ночном движении вновь пронзила его простая и ясная мысль: как счастливо могли бы жить все люди, если б хранили в себе любовь. Понимали простодушно, что спасаются и спасены будут одной неизбывной любовью: матери, отца, жены или детей. И своей любовью ответной. Что весь мир стоит на ней, ею только и крепится.

«Пора», – сказал себе Ваня, поднял полку, достал из багажного отделения свой тощий вещмешок. Вынул из него небольшой сверток из куска прорезиненной ткани, в котором хранились документы и награды. Аккуратно расстелив на полке выглаженную куртку, неторопливо разместил на ней ордена и медали. Он вовсе не собирался этого делать, и днем раньше сильно бы удивился своему неожиданному решению – заявиться домой при полном параде. На войне надевал Ваня боевые награды только по большим праздникам, а они там редко случались. В госпитале же, куда их переправили вместе с документами из штаба части, и вовсе вернули лишь перед самым отъездом. Облачаясь в форму, он ощутил, как непривычно тяжело колыхнулось серебро крестов и медалей на муаровых красных и серых лентах. И весомее других, показалось, орден, полученный за последний бой. Рубиновый крест с позолоченными мечами вручил ему командующий округом уже перед самой выпиской из госпиталя.

Напоследок оглядел себя Ваня в темном зеркале окна, пригладил ладошкой отросшие волосы и вышел из купе. На звук закрываемой двери из служебки выглянула дежурная проводница.

– Собрался, Ваня, сейчас твоя станция будет, – и осеклась. Подошла ближе, недоверчиво коснулась тонко звякнувших наград, тихонько охнула: – Да ты, Ваня, взаправду у нас герой! Вот матери-то радость будет!

Ваня не ответил. Правда хорошо, а счастье лучше. Стоял у окна, нетерпеливо вглядывался в темноту, дожидаясь, когда покажутся огоньки родного поселка. Да и что тут скажешь: и в самом деле, для мамы старался. Все герои остались там, на высоте, и Ваня знал, что ни одного из них посмертно не представили к самому высокому званию. Ни капитана Соломатина, ни друга Лешку, никого из погибших смертью храбрых. Давно перегорела горькая обида, но холодный пепел не разнесет ветер. Одному ему было известно, как они сражались и умирали. И каждого, будь его воля, он удостоил бы звания Героя. Живым тоже редко доставалась по заслугам такая награда, разве что высоким командирам. Ничего не поделать, так было всегда – на войне и без нее, – будет так и после. Чего ж попусту сердце тратить.

Замелькали, потянулись вдоль железной дороги освещенные окна домов, редкие уличные фонари. Ваня по ним легко угадывал приметы до сердечной боли знакомых улиц и переулков. Поезд проскрипел тормозными колодками, хлопнули откидные площадки в тамбуре, и установилась тишина.

Ваня попрощался с проводницей, осторожно спустился по ступенькам на хрустнувший под ногами сыпучий гравий. Больше никто из пассажиров из его вагона не вышел. В одиночестве стоял он на родной земле, полной грудью дышал сладостным байкальским воздухом. Густое, не разбавленное скрывшейся за горами луной, звездное небо куполом накрывало поселок, и он всей макушкой ощущал льющуюся с него благодать. Порывистый ветер доносил ровное сильное дыхание моря. Ваня уже предвкушал встречу с ним. Представлял, как уже завтра утром сбежит с горы, где стоит его дом, на пологий берег. Окунет ладони в ледяную обжигающую прозрачную воду и смое с лица всю дорожную усталость, всю грязь и всю муку войны.

От пахучего воздуха голова с отвычки закружилась. Ваня запахнул бушлат плотнее, закинул за плечо вещмешок и, нетвердо ступая, побрел вдоль состава. Не доходя до ярко освещенного вокзала, свернул в пустынный переулок, поначалу спотыкаясь во тьме о вымытые из земли камни. А на перекрестке, от которого начиналась его улица, не раздумывая, перепрыгнул каждый год пробиваемую талой водой канаву и счастливо улыбнулся – не забыл. Так и шагал в ночи, переполненный неразделенной мальчишеской радостью. Издалека сияло в его доме кухонное окно, как всегда, если он задерживался допоздна. Мама не ложилась спать, не дождавшись его возвращения.

У самой калитки вдруг сбавил шаг, борясь с непреодолимым желанием обернуться. И тут будто кто зло и зябкодохнул ему в затылок. Застигнутый врасплох, Ваня замер, обвел пристальным взглядом такие знакомые с детства очертания байкальских хребтов. Холодом несло от черных каменных громад, снежными натеками, выказавшими себя на небесном полотнище. Постоял чуток, переводя дух. Нет, все же это были его горы, совсем не похожие на те, где он воевал два года. Сходными были лишь холодные тени, отлетающие от их вершин, одинаково бесплотно витающие над землей там и здесь. Но тени эти не могли остудить его радость. Ведь они были всего лишь отражением гор. Повернулся лицом к дому и увидел, что по двору, судорожно комкая на груди платок, к нему медленно идет мама.

Кара небесная

Глава 1

Столько чужих смертей отвел Павел Иванович Листов, что едва не забыл про свою. Примирившись со старостью и свыкшись с одиночеством, он давно уже жил будто посреди пустыни, сухое мертвое пространство которой неотвратно разрасталось. Казалось, с каждым днем все теснее, все туже окружали его холодные пески, оставляя для существования пространство вовсе уж малой величины. Студеное дыхание небытия неукротимо перетекало в крохотный обжитой уголок, выжимая остатки тепла и света. Он давно это ощущал, но не тревожился, не паниковал, как раньше. Медленно думал и тихо двигался, на все теперь взирая пустым равнодушным взором. Нет, не то чтобы смирился он со своим исчезновением с этого света, а вроде перестал о том беспокоиться. Устал, наверное.

Сон Павла Ивановича в эту ночь оборвало неприятное чувство – будто кто мимоходом провел по лицу холодными пальцами, оставив стылые отпечатки, и исчез. Быть того не могло, в чем он, пробудившись, тут же удостоверился. Вслушался в застоялую тишину и стал было успокаиваться. Но не успела улечься досада на внезапное пробуждение, как пришло понимание, что во сне он плакал. Не доверяя своим ощущениям, коснулся кончиками пальцев наставших век, ощутил на них влажный холодок, и внезапно колкий озноб пробрал все тело. Тревожное удивление сжало сердце – слезу из него раньше было не выжать. Да, видать, время и эту крепость источило.

Тогда он попытался вспомнить, что же ему такое снилось, но старческие сны давно уже повторялись и свились в такой клубок, что не распутать, когда какие являлись. Так, впустую, перебирал их нити, пока неясная спростонья тревога на время не отодвинулась в сторонку. Павел Иванович осторожно вздохнул, все еще прислушиваясь к себе, ничего не расслышал и ровно задышал. Дыхание вскоре слабо обогрело лицо. Ночи в первый весенний месяц стояли студёные – прежде чем заснуть, обычно долго ворочался, согревая постель. А тут, удивительное дело, разом проснулся и уже засыпал. Уютное тепло баюкало, качало, и сновидение вдруг удивительно повторилось в нем. Чудно было заново переживать этот сон во всей полноте забытых чувств и ощущений.

...Содрогнулась под ногами твердь, и вмиг все вокруг пришло в плавное движение. Белое волнистое полотно медленно потекло за размытый белесой дымкой горизонт. Будто там, за небесной кромкой, бесшумно сматывал на себя бесконечное пространство невиданный барабан. Так неотвратно, так неостановимо, что невозможно устоять на зыбкой поверхности. Павла Ивановича сначала стронула с места, повлекла, затем стремительно поволокла неукротимая сила. Туда, где, как ему представлялось, было начало всех начал. Но он вполне мог заблуждаться и нестись в обратную сторону. Все смешалось в этом странном мире. Вскоре усталость замутила взор, высушила горло, отчаяние захлестнуло сердце, а он все мчался и мчался, послушный чужой и страшной воле. Но когда вот он, край сил, край терпения, отпустило помраченный ум, и будто прошептал кто: «Не бойся, упасть есть милость».

Тут же обмякло под ногами тугое звенящее полотно, и на нем размытой тушью стали проступать темные пятна, серые полосы, на глазах приобретая полузабытые очертания. Узнавать их было приятно. Не чуя под собой ног, он сделал последний шаг, и застыла неровно выбеленная ткань, несшая его на себе. Разом обернулась привольной заснеженной степью, распахнутой во все стороны. Не успел Павел Иванович подивиться чудесному превращению, как картина стремительно надвинулась на него, и он увидел одинокого мальчишку, скользившего на лыжах по белой целине. Мысленно проложив его путь до ближайшего березового колка, он уже знал

куда тот торопится и что случится после. Давно пережитая радость опахнула грудь. Все, сразу все вспомнилось и узналось. И он ринулся к парнишке из своего немислимого ниоткуда. Но прежде чем слиться с ним, напроць стер в памяти то, что стар, что срок его давно истек и что жив он лишь потому, что все это время добирал жизнь за других, умерших не своей смертью.

...Пашка оглянулся и не обнаружил за спиной деревни. Лишь кончики распушенных кверху дымов выказывали где она есть. Туда же меж белых сопок брели внаклонку придорожные столбы. Сухой выветренный наст хорошо держал лыжи и щемяще поскрипывал: чем дальше от дома, тем громче. Взвижги снега в морозной тишине будили боязливые мысли. «Может, вернуться?» – зябко поежился Пашка, изо всех силенок пересиливая слабость. Неделию назад он уже прошел этот путь в одиночку до далекого березового колка, где расставил на плотно утопанных заячьих тропах десятка полтора петель. Нескончаемо долго тянулись последующие дни, и Пашка истомился, воображая добычу. Оттого и поднялся еще до свету, наскоро перекусил под ворчание бабки и поначалу ходко побежал на лыжах за околицу. Да вот незадача, стал спотыкаться – сыромятные ремешки креплений заскорузли на морозе, то и дело съезжали с задников растоптанных валенок. Не эта бы закавыка, давно был бы на месте.

Поднявшись на скользкий увал, Пашка поправил крепления и было собрался скатиться вниз. С вершинки длинный пологий спуск тянулся аж до самого оврага – последнего препятствия к березовому леску. Оперся на палки да замер – что-то стронулось в сереньких промороженных небесах. Студено дохнуло. Медленно потек густой обжигающий лицо воздух. Пашка прикрыл мохнатой варежкой рот и уставился на далекую громадину хребта, за которой, знал он, начинается настоящая тайга. С его черных вершин летел прозрачный искрящийся дым. Легкие жемчужные размывы тут же таяли в просиневшем небе, подбитом снизу розовой каймой.

Там, на обратных склонах, солнце неторопливо карабкалось в гору. Но дожидаться его появления Пашке было недосуг. Он сморгнул заиндеветшими ресницами солнечное наваждение, толкнулся палками и покатил к леску. Но на середине склона снег брызнул в глаза колкими разноцветными искрами и сразу же потекли, скапливаясь в ложбинках, чернильные тени. Зажмурившись, он резко затормозил, сводя кончики лыж, а когда вновь взгляделся в снежную целину, обнаружил на своем пути свору собак. «Вот те раз, – огорчился он, – их мне только не хватало!» Ясно было, что если увяжутся за ним лохматые, после не отвадить, начнут промышлять на его законных тропах, и пропала вся охота. Собаки кружили у занесенных снегом темных проплешин – следов летней чабанской стоянки, казалось, не замечая Пашку. Поджарые, верткие, они как заведенные крутились на одном месте. Слезаящимися на морозе глазами он попытался рассмотреть, с чьих дворов псы вытанцовывают так далеко от деревни. Не признал, прибавил ходу. Пуще зашипел под лыжами снег.

Накатывая на свору, Пашка помахал палкой – прочь с дороги! И, странное дело, собаки враз закончили свое слепое кружение, потрусили прочь, на ходу выстраиваясь в неровную цепочку. Оторопь взяла Пашку – сроду не встречал таких безропотных собак в деревне. Всегда и везде собаки бежали к нему: за штанину ли рвануть, приласкаться ли. Но так еще не бывало – стоя прямоком уходила от него в сквозившую над оврагом березовую рощу. «Восемь штук! – быстро посчитал Пашка и еще надал ходу. – Как пить дать наткнутся на дармовщинку, пропадай жареха!» Но где там, лохматые псы уже мелькнули среди зарослей волчьей ягоды, один за другим они размашисто взлетели по крутому склону. И вот уже выскочили к самым березам. Пашка чуть было не ринулся вслед, в зияющий меж густых кустов прогал, да что-то заставило поднять глаза и глянуть. Замыкавший цепочку крупный серый пес обернулся всем туловищем сразу, упер толстые лапы в камень и полоснул леденящим взглядом, обнажив клыки. Лыжи так и примерзли к насту. Волки! Окоченев от страха, Пашка смотрел на его оскаленную пасть...

...Расставаясь с собой, десятилетним мальчишкой, Павел Иванович слабо улыбнулся. Таким смешным, таким милым показался ему давнишний детский страх, неведомо почему

посетивший его этой ночью. В душной темноте он попытался мысленно повторить неровный бег сновидения, но из этого ничего не вышло. Зато явственно вспомнился обратный путь домой, который он пролетел вдвое быстрее. И будто почувствовал студеной ветерок, вышибавший слезу, и ощутил колкую шерсть стянутой наполовину варежки – на бегу вытирал щеки назыбшей ладошкой.

– Надо же, такой хороший сон снился, – прошептал он онемелыми губами. А и в голову не взял, что то знак был. До того славно, до того приятно было ощутить себя чистым, цельным, не порченным жизнью.

Посмеявшись над забытыми страхами, Павел Иванович наконец сообразил, отчего так, терпеть нет мочи, настало запястье. Все это время во сне он судорожно цеплялся за подоконник, и холод, острой струйкой стекавший из-под наспех заделанной на зиму рамы, настудил руку. Теперь отогревал ее под одеялом, и постепенно отпускало сердце, комом сжавшееся в груди. В прикрытых веками глазах напоследок скользнула и пропала залитая хрустальным светом бездна, на краю которой он покачался, как над бездонным оврагом, да чудом удержался. Память заботливо упрята в своих глубинах прошлое. Постепенно отогрелось запястье, а вместе с тем окончательно полегчало. Освобожденный от страхов, Павел Иванович вновь тихонько посмеялся про себя. А на самом деле смеялся в нем, зажмурившись от снежно-чистого света, малец Пашка.

И еще несколько томительных и сладких мгновений таял в нем этот, принесший радостный испуг, свет, прежде чем погас. Поманив призрачной близостью прожитого. А когда вовсе исчез, нахлынула тоскливая пустота. И тут же в расколотом сознании стал медленно всплывать застарелый страх. Привычный и легко узнаваемый, с которым он, казалось, давно уже свыкся, как свыкается человек с горбом. Сердце уколола болезненная игла. А думал, что иступилась давно. Чего-чего, а страхов за свою жизнь Павел Иванович натерпелся без меры: поделился бы с кем, да кто ж согласится? Своих, поди, предостаточно. Изношенное сердце сорвалось, застучало вперебой, пытаясь высвободиться. Не тут-то было, этот страх намертво прикипел. И бухало в груди так, что жутко становилось за свое немощное тело.

Павел Иванович собрался с силами, нашарил дрожащей рукой на тумбочке упаковку валидола, сунул мятную таблетку под язык. «По всему выходило, – тоскливо подумал он, – что спасением были завораживающие сновидения, где прошлое и настоящее путалось, как заячьи тропки». Лекарство вскоре помогло, дышать стало легче, и не так давило грудь. Но теперь привязалась бессонница, высасывала из него последние силы, помогая липкому навязчивому страху расползаться по всему телу. «Бороться с этой напастью я раньше умел, учителя хорошие были...» И едва он так подумал, как изощренный ум услужливо вытолкнул спасительную мысль: страх приносит не беда, а ее ожидание, а если так, чего ж терзать себя летучими призраками? Не упомнить, когда открыл он ее для себя в трудах древнего мыслителя и с радостью взял на вооружение. А вот когда и у кого, напрочь забыл. Лежал в темноте с открытыми глазами, сердился на свою ослабевшую голову, еще недавно умеющую связывать мысли в тугие узелки, а заодно и избавляться от страха. Никакие ухищрения не помогали сегодня.

Наискосок по стене скользнула бледная тень. На мгновение вспыхнул росчерк света – ослепительно-быстрый, как волчий оскал. Донесся гул проезжающего автомобиля. Свет ярких фар сбил с толку, и пока таяли в глазах высверки, страх поднял голову. «Чего мне бояться? Нечего, отбоялся свое», – прошептал Павел Иванович во тьме и не поверил себе. Страх, спрессованный из множества пережитых, успел превратиться из собаки в волка. Оборотень этот стремительно разрастался, втискивался в каждую клеточку старческого тела. Сопротивляться не было сил. Самые спасительные мысли глохли под его напором. И тогда он, прижимая к груди онемевшие руки, тихо простонал: – За что мне выпала такая мука?

Легче Павлу Ивановичу не стало, но звук собственного хриплого голоса чуток ободрил. «Мистика все это и дурь!» – попытался сказать он себе как можно тверже. С мистическими

страхами, как ему казалось, он покончил еще в далекой юности, легко поборов религиозный дурман. Лихих людей давно перестал страшиться – что взять с одинокого пенсионера? Никто и ничто в таком преклонном возрасте не могло его напугать до сердечных колик. Теперь даже тюрьма, которой он так панически боялся. Не за что его теперь было посадить, а за просто так – дудки! – времена не те. Родные и близкие же, за кого когда-то стоило беспокоиться, умерли или затерялись насовсем. Так что по всему выходило, коли остался один на один с собой, то страшиться ему на белом свете было нечего и некого. Ни сума, ни тюрьма не грозили. А страх глодал. «Неужто смерти боюсь?» – мелькнула мысль, и он тут же отставил ее – это был страх другого порядка. В приход смерти он верил и не верил, втайне все же надеясь, несмотря на атеистические убеждения, что не может исчезнуть просто так. «Нет, не обойдет, – неожиданно твердо сказал он себе, – срежет. Скольких за мой век скосила, никого не оставила и меня не пощадит. Такую уйму годов прожил, а еще маленько пожить хочется». И от этого решительного признания страх вроде как заскулил, ослабнув.

«Ладно, когда еще смерть до меня доберется, неизвестно, глупо бояться загодя. Пока я жив, смерти нет. Значит, страх меня достает из прошлого», – внезапно заключил он, и не без некоторого удовольствия, что вот, не совсем утерял способность четко мыслить. И уже привычно пошел в своих умозаключениях дальше. «Сам по себе пережитый страх глодать человека не может. А иногда, как во сне, может даже доставить мимолетное удовольствие. Так что же тогда не дает покоя, мытарит душу?»

По белой стене вновь побежали световые полосы, мешая соединить далеко отстоящие друг от друга события. И страх тут как тут – плеснулся в сердце ртутным озерцом. Отозвался тягучей ломотой в онемевших руках. И будто кто иезуитски услужливо подсказал – страх твой тесно переплетен со стыдом. От понимания этого, сердце еще на чуток отпустило, а всего-то – нащупал причину. «Да-да, – медленно прошептал он, еще не подозревая, какое мучительное прозрение принесет эта догадка, – то и страшит, что постыдно».

И зябко поежился под толстым тяжелым одеялом. Страх с готовностью уступал место стыду. Лоб покрылся холодной испариной. «Да что же это со мной такое творится? Из огня да в полымя... Да чего это я – стыд не дым, глаза не выест», – пугливо заматались мысли. Но память уже против воли неотвратимо возвращала его в душный вечер, в пивную со странным названием «Винница» и к людям, которых он не хотел вспоминать.

Вдруг явственно, во всех деталях возникла аляпистая вывеска над входом в забегаловку. Скользнули и растаяли размытые временем лица давно ушедших приятелей... И как-то сразу крупно надвинулись из душного полумрака смеющиеся глаза друга. И будто вчера увидел, как скользит скомканный платок по его влажному лбу, как немо шевелятся губы, выговаривая слова... Вот только какие? Не вспомнить, полвека минуло с того дня. И все же Павел Иванович попытался зацепиться за эти никчемные, хоть и приятные воспоминания молодости, но накатывали свинцовые волны страха и стыда, мешали думать.

Товарищ его, старательно упрятанный в глубинах памяти, вынырнул из прошлого, а следом всплыли из темного колодца небытия: окно розового света, синие слоистые полосы табачного дыма, заставленный пивными кружками и бутылками стол, знакомые и незнакомые лица. И даже кислый прогорклый запах питейного заведения. Над всем этим гомонящим на разные голоса застольем уже нависала, клубилась зловещая тревога, была разлита неуловимая опасность, но ощутить ее мало кто из них тогда мог. Или мог, а потому, как в последний раз, развлекался бесшабашно, хмельно и бездумно. «А ведь с того дня для меня началось самое страшное», – подумал Павел Иванович. Знать бы, что уже был включен невидимый черный метроном и неслышно отстукивал ему и его другу свой срок.

Сквозь немыслимую толщу лет прорвалось придушенное: «Нет опаснее врага, чем бывший друг». Вот что сказал со смешком его товарищ, а кому и зачем, уж не упомянуть. Чувство не прощенной вины, которое, казалось, он давно задавил в себе, проступило также отчетливо,

как возникло из вечной темноты времени лицо друга. Таилось, значит, столько лет. Павел Иванович осторожно сцепил зубы, оберегая расшатанный в нижней челюсти мост. Опять попытался погрузиться в спасительное забытие. Но прожитое медленно и неотвратимо всплывало в памяти, будто поднималась из темных морских глубин страшная рогатая мина, угрожая в одно мгновение разнести на куски его уютное существование.

Глава 2

В пивной «Винница» Павел и Александр очутились на исходе по-осеннему умиротворенного дня. А до того неторопливо бродили по набережной Ангары. Как-то по-особому хорошо думалось и говорилось им в предвечерней тиши у пронзительно ясной холодной реки, плавно обтекающей город. Мешало лишь какое-то душевное томление, какое-то тревожное предчувствие перемен. Может, виной тому была неуловимая грусть, разлитая вокруг в увядающей природе иль в них самих. Александр был старше, опытнее Павла, и оттого, казалось ему, умнее и тоньше понимал эту жизнь, крутившуюся мутным водоворотом в новых берегах. Вот и сейчас, рассуждая о ней, он вдруг открывался Павлу с другой, неведомой ранее стороны. И он все больше убеждался, что нет, не мог Балин, как ни старался показать обратное, смириться с переменами, забыть ту прежнюю жизнь, навсегда канувшую в небытие, в которой ему было проще, уютнее, да и достойнее обитать. Но где она, та прежняя жизнь, сломанная теперь под самый корень, которую продолжали выкорчевывать из всех сил, не оставляя ни грана надежды для тех, кто не желал с ней расставаться.

Так, неторопливо, дошагали они до чудом уцелевших церквей, ободранные купола которых все еще горделиво красовались рядом с разнесенным взрывом кафедральным собором на Тихвинской площади. Но была еще причина, по которой Павел всю прогулку нервничал, не мог собраться – готовился к разговору о своей только что вышедшей в иркутском издательстве первой книжке. Но никак не мог найти предлога повернуть разговор в нужное русло. А когда насмелился и вроде ненароком спросил товарища, взялся ли тот за чтение его повестей, было поздно. Александр внезапно оборвал разговор на полуслове и замолчал. Павел не раз сталкивался с этой его странной привычкой внезапно уходить в себя – вот только что был с тобой, и тут же далече. Он бережно и осторожно, будто по кладбищу, шагал меж вывороченных глыб, мимоходом касаясь ладонью изломанного взрывом пахнущего порохом узорчатого камня. Что пытался выискать, что разглядеть в этом крошечке? Ничего нельзя было прочесть на его застывшем отрешенном лице. Павел же ни о чем не мог думать в эти минуты и ничего примечательного не видел в каменных развалах. Истомился от нетерпения узнать наконец мнение старшего товарища о своей книжке. А Балин молчал, в рассеянной забывчивости обходя это расхристанное место. И оттого Павла начало забирать раздражение. Ради чего, спрашивается, весь этот чудесный день и прогулки, и откровенные разговоры о жизни, если о главном так и не сказано ни слова?

«Вот, рванули и поминай как звали, – произнес Александр, и глаза его сделались большими и печальными. – Да что собор. Целую империю порушили, народ перемешали, не разобратся, где кого искать, да и найдешь ли? Себя не найти в этом скопище». Павел в ответ лишь пожал плечами – нашел о чем печалиться, кругом кипит новая жизнь, и она ему нравится уже тем, что другой не будет. А раз так, живи и радуйся, надейся на лучшее. Настроение было напрочь испорчено, их занимательная литературная беседа для него прошла впустую. А жаль. Тогда-то он предложил, а Балин принял это, как потом оказалось, опрометчивое решение – отправиться в пивную.

Питейное заведение «Винница» в последние годы стало излюбленным местом сбора всей их свободной братии. Сюда стекались со всего города писатели, художники, артисты, прочие люди неопределенных творческих наклонностей. Здесь и только здесь можно было еще всласть,

как в старые времена, пообщаться с друзьями и знакомыми, пооткровенничать за кружкой пива или стопкой водки, хотя надо было бы поосторожнее к себе относиться – время такое, не приведи Господь. Да разве удержишься, дорвавшись до когда-то обычной, а теперь вдруг ставшей призрачной, атмосферы душевной раскованности и личной значимости. Пусть даже мнимой, на короткое время вздернутой спиртным. Александра, да и не только его одного, многих завсегдатаев пивной, Павел для себя давно причислил к когорте ветеранов, которым ничего не оставалось, как вспоминать былое. Так оно было в действительности – хлебом не корми, пусти в прошлое, мало чем напоминавшее сегодняшнюю жизнь. Кончились их прежние благословенные времена, когда жилось вольно, говорилось сладко, философствовалось без оглядки. Нет, с их умом и жизненным опытом нетрудно было понять, что не вернуть целую эпоху. Но так важно было им выговорить друг другу накопленное, выношенное в уме и сердце за годы, а знали они не в пример обновленному поколению много, что поневоле догадаешься – оттого торопятся выплеснуть себя в словах, не довериться бумаге, что в глубине души уже ни на что не надеются. И все их знания и умения уйдут бесследно, как вода в песок. А сегодня, похоже, вовсе в том уверились. Новые хозяева жизни объявили хламом и мусором всю многовековую культуру, вот только вымести ее из этих людей не могли. Поразительно, но это поколение никак не могло примириться с очевидным: в те, прежние времена, их вольнодумство, их революционная смелость дозволялась, а теперь не то что говорить, думать о власти плохо стало смертельно опасным. В том-то и была жуткая правда, что всех их обвели вокруг пальца, да так ловко, что никто и опомниться не успел. Вымарался в крови и грязи. Новое шло под речевки, с песнями, в которых бедные слова были впопыхах положены на заимствованную у старого режима музыку. Наверное, ему, этому новому поколению, необыкновенно хорошо было шагать под размеренный гул барабана и фальшивую медь. Павел не очень понимал тех и других, оказавшись как бы посередине, но не сильно о том тужил – он одинаково любопытствовал изящному складу старших товарищей и неотесанному энтузиазму. Верил, что пройдет время, и сольется славное прошлое и славное настоящее. Балин скорее его потерял надежду и оптимизм, а может, всегда скептически относился к новой власти, а еще вернее – не имел желания терпеливо дожидаться лучших времен. Да и то правда, жизненный срок на то у него был меньше, чем, скажем, у Павла.

По привычке они еще забегали в гости друг к другу, но все реже. И встречи эти теперь больше смахивали на домашние посиделки, где пьешь чай да говоришь о погоде, а о политике лучше не заговаривать – разве что с оглядкой на домочадцев и соседей по коммуналкам. Тревога прохватывала сердце осенним холодком и будто выметала улицы города. Молчаливее становился народ, опасливее. Не весь, правда, но те, кто поумнее или поближе к власти, больше других. Одна «Винница» же казалась подходящим местом для искренних встреч, кабы знать, что каждое слово, сказанное в этих стенах, тут же растекалось по городу и незнамо как находило чужие уши.

Как бы там ни случилось, в этот день им все равно было не миновать пивной. На то был приятный и особый повод – накануне Саша получил гонорар за подборку стихов, наконец-то помещенных в журнале «Прибайкалье». Печатали его редко, и это было не удивительно. Человек не от мира сего, ну, никак не вписывался он своим сентиментальным романтизмом в героические будни страны, а вернее – не от этого нового порядка, установленного в бывшей империи. Павел иногда испытывал к нему жалостливое чувство, но не в силах был помочь. Александр был человеком редкой породы, талант в нем сочетался с таким особым виденьем жизни, какое ему, Павлу, и не снилось. Это он осознавал, но не особо завидовал – ни к чему дар, от которого одни страдания. Не в то время попал, считай пропал. Для себя он давно уже вывел еще более простую истину: жизнь одна и прожить ее надо.

Саша же продолжал витать в своих недоступных простому смертному высях и писать странные стихи, такие как «Астраль 2010 года». О никому неведомых космических полетах, о возвращении людей из невиданных далей и не узнающих свою землю. Как это могло быть,

когда в Иркутске и самолет – диковина? У Павла не шла из головы статья, недавно опубликованная в Москве одним заезжим рецензентом, после которой Александру вовсе стало туго печататься. «Такая оторванность от земли, на которой товарищи делают революцию, опасна и народу не нужна», – с пафосом заключил он после обильного словоизлияния и обличения Балина в пустой мечтательности и забвении пролетарских интересов.

А в нем так естественно сочетались одержимость поэзией и полнейшее житейское бескорыстие. Деньги для него значили мало. Вот и сегодня он благополучно пропивал с ним свой гонорар, нимало не заботясь, что завтра, может быть, не на что будет купить хлеба. Сегодня был праздник, и он диктовал все его поступки и решения.

«Фантазер, мечтатель! Дон Кихот!», – разомлел от выпитого Павел, забыв на время о всех огорчениях, невольно причиненных ему другом. Он поглядывал на повеселевшего Александра, чувствовавшего себя в этом заведении как за каменной стеной, хоть на время да отгородившей от бед и опасностей. Еще не пришло время Павла вступить в беседу с их молоденькими спутницами, и пока он не без ревности наблюдал, как они не сводят очарованных глаз с товарища. Где и когда познакомился Александр со студентками Катей и Валею, ему было неизвестно, да, впрочем, знал ли он их вообще? Девушек повстречали они на пути в пивную, а уж пригласить их разделить компанию для Балина было делом одной минуты. Те же и не подумали отказаться. Талантливый человек чаще всего талантлив разносторонне. Постулат Александра, что без женщин происходит обычная пьянка, а с ними – приятное времяпрепровождение – Павел разделял безоговорочно. В обхождении с дамами его приятель знал толк, и сейчас, как всегда, утонченно и изысканно, вел разговор, обворожительно смеялся, шутил, излучая редкое мужское обаяние, так ценимое женщинами. Павел одно время пытался перенять его манеры, да тщетно, все-то выходило неуклюжее, глупее, вредило беседе и не способствовало ухаживанию. Но кое-чему все же научился, прежде всего умению слушать и вовремя вставлять умное словечко. Женщины, они, как верно сказано, любят ушами.

Что правда, то правда, – Саша был на редкость обаятельным человеком. Высокий худощавый с бледным одухотворенным лицом, окаймленным бородкой, он резко выделялся среди всех. В последнее время в моду вошел некий усредненный тип, одинаково выглядевший, одинаково мыслящий, одинаково поступающий. Мимикрия какая-то. Все будто натягивали на себя защитный слой, маскируясь под общий серый фон жизни. И кумач по праздникам не расцветчивал толпу. Балин же наперекор времени был не как все, наружность выдавала: я из той, прежней и милой мне жизни. Павлу нравилось его лицо. В его голубых глазах светилась доброта и доверие, но складки у губ, четко очерченный нос с горбинкой выказывали твердый характер. Вот и сейчас, вполуха слушая оживленный разговор, пытался понять, чем все же его приятель так разительно отличается от него, от окружающих их сейчас людей. И внезапно осознал – врожденным достоинством. Редким даже в старые времена, а в нынешние волчьим растоптанным, сведенным до уровня первобытного инстинкта. Павел против воли оглянулся по сторонам, сверяя свои мысли с действительностью – да, не лучшая половина отчизны окружала их, но и не худшая. Обыкновенность. От смотрин публики в нем укреплялось подозрение, что человечество только тем и занималось в веках, что изживало в себе достоинство. Не минула сия горькая чаша и Россию. Но что за неистребимая сила сокрыта в нем, если после стольких веков изошренного его истребления, живо оно в человеке и проявляется в его лучших представителях.

Балин был лучшим среди них – с этим Павел долго не хотел соглашаться, даже пытался соперничать, но бросил, когда понял, что никогда не дотянуться ему до взятых тем высот. Ну, если не в литературе, то в жизни уж точно. Дал Бог человеку таланта быть цельным во всем. Вот он тряхнул гривой светлых волос, засмеялся, и Катенька с гладким личиком, впавшая было в задумчивость, послушно рассыпала дробный хохоток и сделала ему кукольные глазки. Павел повел головой, избавляясь от наваждения, навеянного плавным голосом друга.

– В молодости я думал, что вот-вот кончатся все мои несчастья, неудачи... Плохое перемелется, забудется... И завтра, вот утром завтра, настанет эта нескончаемо светлая жизнь, к которой все так стремятся, – голос его теперь зазвучал глухо с какой-то тоскливой нотой. Тембр его голоса менялся также внезапно, как и тема разговора. А ведь только что смеялся и забавлял девушек. – Но приходил день, и новые беды обрушивались на мою бедную голову, пока, наконец, я не понял, что нет счастья без несчастья. Иначе как остро почувствуешь их редкие проявления? Верно? И еще – что даже коммунизм не есть избавление от горя и несчастий.

Девушки быстро переглянулись, но промолчали, лишь легкая тень недовольствия мелькнула на лицах. «Сказывается пролетарская выучка», – усмехнулся Павел. Саша глянул острым глазком на друга и понимающе подмигнул, тут же уводя разговор на другое. Любил он плавать рваными галсами. Пиво еще не допили, а хмель уже туманил головы. Тяжелый, дурной – сказывалась дешевая водка, выпитая перед тем, как заказали пива.

– Точно знаю – до сорока живешь ожиданием счастья, а после сорока ожиданием несчастья. Для мужчины возраст – драгоценное приобретение, я только сейчас это понял, достаточно пожив на белом свете. Все-то в моей молодости было не так, неуверенно и шатко – кто ты будешь, зачем, с кем. Какие-то сердечные боли, страсти, желания, и все это мучительно и бесполезно. Не знаю, понимаете ли вы меня, любезные мои барышни...

– Понимаем, понимаем, еще как понимаем, – хохотнула Валентина, подруга Кати, показывая ровненькие, но уже порченые плохим табаком зубки.

Ох, уж эти революционного воспитания барышни с папиросками. Кажется, они учатся на биофаке или в медицинском? А впрочем, какая разница, – мелькнула мысль. Саша, которому исполнилось аж 47 лет, мог как-то не замечать свой возраст и выглядеть соответственно компании. Вот сейчас он – умудренный жизнью, философствующий поэт, а через минуту – опять веселый, милый малый, если и смотрится разбитным, то так, самую малость. Почти ровесник, но гораздо интереснее. Девуцы здорово покупались на это.

– Остаться бы сейчас в этом возрасте, когда могу, многое умею и хотения не занимать. Вот только бы обстановочку полегче, как славно можно было бы зажечь! – хитро покосился он на Павла.

– Ну, бедность теперь у нас не порок, к счастью, – серьезно сказала Катя и не выдержала, прыснула в ладошку.

– Ну, не такой уж вы пожилой мужчина, как представляетесь, – медленно и загадочно проговорила Валентина.

Саша задорно повел головой, плавно колыхнулась грива волнистых волос, и с чувством продекламировал:

«Вам сколько лет?» —
Спросили вы меня...
Сказал в ответ
Я, овладев собою:
– Хотя, как в песне, в сердце перебои,
Мне 18, милые друзья...

И такое обаяние в эти минуты излучали глаза, такую теплоту источала улыбка, что нельзя было не поддаться его чарам. «Вот чертяка, да как же ему это удастся!» – воскликнул про себя Павел. И тут девушки, не сводя с него восхищенных глаз, стали просить почитать что-нибудь о любви. Он минуту помолчал, собираясь с мыслями, и рассыпал строфы Сапфо и Гейне, вспомнил Верхарна и тут же перешел к Гумилеву, Блоку. Но, странное дело, чем больше читал, восхищенно выговаривая чудесные строки, тем сильнее вводил девиц в уныние.

– Несовременно это, запутанно и сложно, попроще нельзя? – не выдержала и прервала его Валентина. – Ну, как пишут лучшие современные поэты, так, чтобы сразу все ясно и понятно.

– Ну, право, не знаю, кого и выбрать... из современных. Случаем, не подскажите? – лениво переспросил Александр.

– Ну, Демьян Бедный например...

– Бедных Демьянов не знаю, знать не хочу и вам не советую, – сухо и четко ответил Александр.

И замкнулся, сник, уткнулся взглядом в пивную кружку – поразительно быстро уходил он в себя, если неожиданная мысль приходила ему в голову. Девицы поняли это по-своему, пожали плечиками и перенесли внимание на Павла. Несмотря на некоторые излишества, им явно нравилось такое культурное общение, вот разве что гармошки не хватало.

– А не могли бы вот вы, Павел, описать в романе всю мою жизнь, как она есть? – томно сказала Катя, пригубив из тяжелой кружки янтарного напитка.

И он, глядя в ее темные блестящие глаза, прежде чем ответить, быстро подумал, что еще недавно помыслить не мог, чтобы его круга девушка могла о том спросить. Правда, и девушки были другие, и жизнь другая, и пиво вкуснее. Все то кануло безвозвратно, и теперь оставалось сидеть в темной пивной, куда интеллигентному человеку когда-то считалось зайти зазорным. По меткому выражению его друга: жизнь опростилась до безобразия. Творческих людей, которыми всегда славен был Иркутск, все убывало – что-то будет далее. Наступили такие времена, что лучше было не высовываться из своего уголка, заниматься делом по душе, не допуская до себя незнакомых людей. И пока он так думал, поглядывала на него девица хитро, с прищуром, как если бы торговала ему семечки в калашном ряду. Портили ее личико грубо накрашенные губы уголками вниз, таилось в их припухлостях что-то брезгливо-порочное и хищное одновременно. Он невольно попытался дорисовать ее лицо таким, каким хотел бы видеть, – чуть-чуть поправить бы здесь, подвести тут, убрать наносное там – вполне славная барышня могла получиться. Пустая затея, уже не получится.

– Ну что же вы молчите, Павел? Э-эй! – помахала она ладонью, словно разгоняла тяжелый табачный дым дешевой папиросы. – Я здесь...

– Видите ли, любезная Катерина, – ответил он, глядя в ее зардевшееся лицо, – очень скучная получится книга.

– Вы прямо меня не уважаете, – возмущенно воскликнула она, не успев стереть с лица улыбку.

– Да при чем здесь вы? – нехотя процедил Павел. – Вот еще была причина ввязываться в литературную дискуссию. – Я вовсе не вас имею в виду, а то, что описание жизни отдельного человека, как она есть, не представляет интереса ни для писателя, ни для читателя.

– Ну уж нет, – раздраженно отвечала она, – я вам могу привести кучу примеров. Взять хотя бы книгу Островского «Как закалялась сталь» или Гольдберга – «Поэма о фарфоровой чашке».

– Вот именно – кучу... – процедил Павел сквозь зубы, нелегкий хмель бродил в голове. И тут его завело, как на литературном диспуте, когда кто-то вбрасывал в спор заведомо провокационную мысль.

– Милая Катя, – начал он, заметив, как возмущенно дрогнула ее бровь – н-да, нервная дамочка, – в книгах, тобою названных, рассматривая сугубо фактическую сторону, если и наберется процентов десять правды, и то хорошо. Не дело художника отображать жизнь, как я бы выразился, в летописном плане. А преобразить ее так, чтобы наиболее полно и ярче была выражена идея автора и дух эпохи.

Александр, дотоле молчавший, поморщился от таких оборотов, но стерпел. И даже заинтересованно скосил глаза, всем видом, однако, показывая, что больше увлечен соседкой. Но

Павел хорошо знал его неумный характер и способность ввязываться в подобную схоластику. Как говорится, начнет, так на двоих выпросит.

– Вот поэтому художник обязан уметь фантазировать так, чтобы эта фантазия являлась полным отображением реальной жизни. А иначе получится голый натурализм. Его святое дело многие мелочи обобщить, свести в одно и создать произведение, которое звало бы на борьбу или хотя бы было оружием в этой борьбе, – добавил Павел на всякий случай, понимая, как безвозвратно ушло время свободного полета мысли, и вместе с тем удивляясь как быстро это произошло. Каких-то двадцать лет после революции, и нате вам, все послушно шагают под барабан и сдают политграмоту, будучи неграмотными. Но надо было дожимать, и он продолжил:

– Согласен с тобой лишь в том, что книга Островского является его автобиографией, но это не значит, что он в ней не фантазировал. Мне кажется, что ценность этой книги в том и есть, что он свою замечательную революционную биографию дал на фоне исключительно яркой и умной фантазии.

– Так, значит, он врал? – в своем духе заявила Катя.

И тут Павел заметил, что Александр сидит, откинувшись на спинку стула и сосредоточенно смотрит куда-то поверх голов. Верный признак, что ввяжется в неожиданно усложнившийся разговор. А этого не хотелось, Балин в последнее время стал слишком нервным, слишком неосторожным, в любой миг мог сорваться и наговорить такого, что хоть «святых выноси», если подразумевать под ними представителей новой власти. Издержки бурной молодости! В свое время увлекался идеями анархизма, которые многие теперь не то чтобы не разделяли, а даже не понимали и понять не могли. Все-таки поколение Павла шло вслед и многого просто не успело освоить. Мысли перескочили, и он затаил с ответом, вспоминая Сашины слова, сказанные в запальчивости на одном из последних писательских собраний: «Высший идеал человечества – это свободное общество, это анархическое общество, где совесть свободна, как и поступки каждой личности», – отчеканил Александр, когда его попробовали укорить в давнишней привязанности к бакунизму. Он и раньше много оригинальничал, импровизировал, чего при нынешней власти делать было ни к чему и пока все эти вольности как-то сходили ему с рук. Впрочем, Павлу было вполне понятно, отчего Балин так себя вел – когда столько знаешь и столько понимаешь в окружающей тебя жизни, но изменить ничего не в силах, только и остается, что разглагольствовать о том в пивной с симпатичными подружками. «И кружками», – скаламбурил Павел. Но на том собрании это было совсем не смешно, – вспомнил он и зябко поежился. И попытался разрядить обстановку, миролюбиво согласившись:

– Выходит, так. Врал, как выражаетесь. На то он и художник...

– Ну а Гольдберг? Вы ведь, поди, лично его знаете, раз числитесь писателем. Чаи, поди, распиваете вместе? Из фарфоровых чашек, – довольно развязно пошутила она и окончательно убедила в своей непробиваемой глупости.

– То же самое, – сорвалось с губ Павла, прежде чем он подумал. – В его поэме взят фон Хайтинской фабрики, а на этом фоне вымышленные люди, вымышленные события и не совсем удачный сюжет.

С Исааком они и впрямь неоднократно распивали чаи в его квартире по улице Марата, беседовали на разные темы. Там и возникла у Павла эта мысль, но высказать ее Гольдбергу было бы неуместно, невежливо и нахально. А вот сейчас выпалил и пожалел – вроде, за глаза такого почтенного человека обидел, одного из начальников писательской организации. Да не о том бы заботиться. Едва потянулся за бутылкой, чтобы наполнить стакан и заполнить паузу, как раздался непривычно вкрадчивый, какой-то шелестящий голос Александра:

– Теперь лишь за границей о нашей жизни могут писать горькую правду, без всяких фантазий. Жид, например. Он гуманист. Лжи о России не напишет...

– Ой, только не надо тут о национальном вопросе, – поджав губы, сухо сказала молчаливая до сей поры Валентина.

– Не понял, – повернул к ней лобастую голову Александр, – причем здесь национальности? Читать надо не только классиков марксизма-ленинизма. Всегда считал, что политика чужда тематике настоящей поэзии, политика – это насильная перестройка поэтического голоса. Стихи, написанные вождям – не стихи, а бездарный лепет пройдох. Возьмите хотя бы стих Суркова вождю в «Правде». Это же чистейшей воды подхалимство, низкопоклонство и ложь!

Все ошеломлено замолчали. Валентина одними губами прошептала:

– Вы бы, Александр Иванович, потише тут...

У Павла кожу на затылке стянуло – упустил все же Александра, недосмотрел.

– Жить честно и морально – это не только естественно, но и выгодно! Когда же все поймут, что не случайно у всех преступников одни и те же болезни, – понесло его.

Тут стали умолкать и за соседними столиками. Катерина резко встала, потянула за рукав Валентину, и, не попрощавшись, они пошли к выходу, унося на лицах оскорбленное самолюбие и толику сожаления, что вот, недопили и недоели по вине политически невоспитанных ухажеров. Павел было дернулся вслед. Но Александр раздраженно махнул рукой – пусть идут восвояси.

– Ну и зачем? Чего добился? – с досадой сказал Павел. – Донесут куда надо, задержают, им же не объяснишь, что все это ты говорил из-за любви к чистому искусству...

– Надоело молчать, надоело писать в стол и радоваться каждому опубликованному четверостишию. Благодетели, мать их, – неожиданно ругнулся он. – Пошли отсюда, тошно на все это глядеть, запах духов от этих дамочек перебивает даже сей аромат благородного напитка... Ты не знаешь, чем они пользуются?

За спиной хлопнула дверь, отрезав от призрачного тепла и света. И они окунулись в тьму городских улиц. Осенним острым холодком несло от близкой реки. На свежем воздухе хмель сильнее ударил в голову и обострил запахи. Медленно шагая вниз по Большой, к осиротевшему гранитному пьедесталу – все, что осталось от снесенного в приступе оголтелого самосознания памятника императору. Станные мысли одолевали Павла в тот вечер.

Он шел и думал, что полюбил этот город сразу, и тот его принял без всякого сопротивления. Как только переехал он сюда из Томска, где так неудачно, так бестолково мыкался несколько лет. Заносило его и в Москву, и в Питер, но нигде не смог прижиться, стать своим или приближенным, как ни старался. Даже в партию вступил, да в ней не удержался. А здесь прибавилось сил и мыслей, да так, что не заметил, как перескочил разом от журналистики к прозе, начал печататься, и вот, выпустил книгу повестей. И понимал, что еще слабо пишет, слабо мыслит, и нечего лукавить, пытается подладиться под революционные нововведения. Но что поделать, не поклонись – не впустят. Вот Балин, тот все делал хорошо, а не печатали, не понимали. Не кланялся. Не тот коленкор – говорили товарищи-писатели, из тех, кто пришел в литературу вовсе не по призванию, а по велению сурового революционного сердца. А что можно написать по партийному приказу? Но и это не беда, повторял Балин, перемелется, мука будет. Это же сколько надо перелопатить пустой породы, чтобы сверкнул хоть один махонький самородок? В бурное время нередко выносит на поверхность истинный талант. Но весь вопрос в том, на какую службу он себя определит? Сегодня вроде бы все как один служат трудовому народу, для него стараются, ночей не спят. А как быть с теми, кто не хочет расставаться с прошлым, заклеянным ныне новыми властителями дум? Ведь столько веков закладывались традиции в народе, крепились устои и порядок, попробуй измени себя на потребу советских властителей. И главное – не было мытарящего душу и тело страха. С каких пор это тревожное, гнетущее чувство вошло в Павла, да и не только в него, уже и не упомянуть. И не очень задумывался – тут не до раздумий, когда столько достойных людей пропало не за понюх табака.

На перекрестке Большой и Амурской стылый ветер прохватил до самых костей так, что отпала охота идти на набережную, свернули на улицу, недавно названную в честь француза Марата. Новая власть переименовала город под свой лад, торопилась утвердиться на века, застол-

бить свои и чужеземные имена на российской земле, разбрасывая их густо по городам и весям. Однако до сих пор переименованные улицы и переулки народ привычно называл Ланинской, Арсенальской или Баснинской. И это было справедливо. Не принято у русского народа менять имена даже на более благозвучные.

– Павлуша, я вижу или мне так кажется, что ты кривой, как турецкая сабля? – голос Александра сбил его с мыслей. – А я вот слегка трезв, – добавил он мрачно и внезапно спросил, словно бы прислушиваясь к шороху листьев: – Ты не задумывался, отчего мы столь много пьем? Мы и раньше пили немало, но никогда так, как сейчас, гуляем, будто в последний раз... И знаешь, что мне пришло в голову – все живем в ощущении какого-то нескончаемого ужаса. Вот только никак не могу взять в толк – или никто этого не понимает, или не хочет понимать? Мы этими несчастьями переполнены под завязку, а газеты, радио и ораторы все талдычат нам о казнях, о тысячах казней. А ведь не война. Почему же никто не возмутится, что нельзя столько творить несчастий и горя, их попросту нельзя уже вынести. Еще раны гражданской не зализали, а тут новая напасть.

– Слушай, давай передохнем, никто же не гонит нас по ночи, – откликнулся Павел, не желая продолжать этот разговор. Его неприятно поразило, что Балин, дотоле шагавший молча, все это время будто читал его мысли, а после взял, сгустил их до состояния вязкости и выдал за свои. Или все они сегодня только об одном и том же думают? Александр словно его и не слышал, размышлял вслух, вроде обращаясь в Павлу и в то же время беседуя с самим собой.

– Да ужас этот никогда и не прекращался, с того самого красного октября. Я вот тут паренька одного из Хомутово вспоминал, невинно убиенного. Никак не идет у меня из головы эта история. Где-то в начале, припоминаю, зимы 29-го приехал в деревню уполномоченный Союзхлеба по фамилии Кислов. Поздним вечером шел на постой и на мостике через речку, по его словам, уронил спички. Нагнулся поднять коробок, в этот момент выстрел. Пуля пробила плечо. Добрался до сельских активистов, те перевязали и отдыхать уложили. Ну, дальше интересней. Какой-то Тряпкин, заведующий избой-читальней, зажег фонарь и отправился осматривать место происшествия. Нашел со товарищи у моста след, который привел их к дому Леонтьева. А тот числился у них в кулаках-единоличниках, потому как робил от зари до зари и семью кормил. Вломились в избу, подняли заспанного парня – сына его, потребовали показать ичиги, сличили и решили, что след, оставленный на месте преступления, от его обуток. Тут же порешили, что раз он и его отец – кулаки, то это их подлых рук дело. Посчитались с уполномоченным по хлебозаготовкам, который очень уж жестко зерно выгребал. А у Леонтьевых всего-то богатства было, что свой дом, из скота две лошади, три коровы, пять десятин посевов, да пара десятин пашни. Но и за то их к тому времени лишили избирательных прав. Забрали парня. Газета «Власть труда» тут же заметку о нападении начирикала и в прокуратуру переправила, как сейчас помню, называлась она – «Классовый враг не дремлет». В январе – приговор по 58-й статье УК: «Приговорить к высшей мере социальной защиты расстрелу, с конфискацией всего принадлежащего обвиняемому имущества, в чем бы оно не выразалось. Приговор окончательный и может быть обжалован в течение 72 часов». Телеграмма из Москвы, что ВЦИК отклонил ходатайство по делу и приговор оставлен в силе, тоже не заставила себя ждать. Граждане села челом били, просили за паренька, доказывали, что никаких следов возле дома и моста рассмотреть невозможно, все изъезжено и утоптанно, что он примерный в жизни человек – все бесполезно. Вот так, без суда и следствия. Убивали тогда и убивают нынче легко – от одного лишь пролетарского осознания своей безнаказанности. Вот тогда у меня совсем глаза открылись. Я, даже пережив мясорубку Гражданской, так остро не ощущал весь ужас с нами происходящего. Как озарение нашло, спала мутная пелена, прошла эйфория перемен, и вспомнилась мне статья Пуришкевича, обращенная к господам большевикам в 1917 году. Порылся в своих архивах и нашел. Прелюбопытный документ, за одну его копию сегодня точно голову снимут и не спросят, чьих кровей. Я тебе потом зачитаю кой-какие выдержки...

Павел поморщился, ответил осторожно, к месту припомнив строку из Священного Писания – «многие знания умножают печали». Мало ли кто и чего говорил, зачем ворошить прошлое, которое нынче так опасно для настоящего.

– Ты еще скажи, что с волками жить, по-волчьи выть, – с усмешкой сказал Александр и продолжил как ни в чем ни бывало, будто мнение Павла для него сей секунд ни имело ровно никакого значения: – Не потому ли еще и стала революция в России возможна, что народ пропитался идеями мессианства и уверовал в исключительность своей судьбы. Или вернее, этим он всегда жил, пропитавшись с незапамятных времен. И взбунтовался, как только ему подкинули идейку, с помощью которой пообещали уже завтра устроить счастливое будущее. Которое выражается всего в нескольких действиях: сладко есть, вдоволь спать, а работать когда захочется. Рай для трутней, в общем... А весь этот трудовой энтузиазм, который мы сегодня наблюдаем, организуется против самой природы человека, который вовсе не хочет работать за так, под палкой, а делать нечего, деться некуда – прокормиться надо как-то, пережить еще одну напасть...

– С тобой точно догуляешься до кутузки, – не выдержал Павел, взбудораженный разговором, так невинно начатым в пивной. – Я тебя моложе, но тоже кое-что повидал и понимаю, какой опасный политический момент переживаем. Ты ведь к этому клонишь. Ты вот 29-й год упоминал, а я в то время взял да вышел из партии, и теперь мне это может так аукнуться, что мало не покажется.

– Дурак ты, братец, нашел о чем жалеть. Сейчас чем тише и незаметнее живешь, тем спокойнее. Глянь, каких тузов вышибают, ленинцев-сталинцев, всю эту распрекрасную жизнь построивших. Кому мы с тобой нужны? У них работы и без нас по-за глаза. Кончилась диктатура партии, на смену пришла диктатура одного человека. И власть у него пострашнее и помощнее, чем у любого императора.

Ни к чему не обязывал Павла этот пьяный разговор, от которого он хотел, но никак не мог отделаться. А разбередил, задел его за живое товарищ. Запросились ли наружу давние обиды, вызванные то ли творческим малосилием, непризнанностью, а скорее тем и другим, да только разоткровенничался он:

– Нет, ты послушай, как это было. Я еще в Томске работал, в газете, а там троцкисты, уклонисты, голова кругом. Приняли меня за ставленника отдела печати крайкома. А уже тогда в разгаре была борьба с разного рода уклонистами – истрепали нервы так, что запил по-черному.

Работа тяжелая, я быстро потерял работоспособность. И начал усиленно потреблять пиво. Не поверишь – после работы выдувал по полведра, кое-как до дома добирался. А утром вставал и все по новой. Да что говорить, невзлюбили меня там... Они на одной платформе, я на другой... Одной выпивкой спасался.

– Ну, это знакомое дело, – ухмыльнулся Александр, – с утра выпил и свободен.

– Вечно ты все перевернешь, не в том дело, не подходил я им по идейным соображениям. Сумасшедший дом, кто-то выдумает на бумаге свою линию, а кто не с ними, тех записывают в противники. Видели они во мне политического противника и всячески зажимали меня. Тогда-то стали меня посещать мысли о своей неполноценности, о моральной инвалидности. В конце концов от сознания своего одиночества я пришел к выводу, что надо кончать жизнь вообще. Особенно угнетала меня мысль, что в партии я оказался лишний...

– Ты еще дурнее, чем я подозревал, – зло сказал Александр, – и вновь в самое сердце поразила его демоническая способность мгновенно менять настроение, ведь только что ерничал.

– Да я это чувствовал на каждом шагу. Никому никогда не говорил и тебе не знаю, почему рассказываю. Но как на духу – однажды вечером, закончив работу, написал предсмертные письма жене и редактору. Поздно уже было, когда разыскал секретаря партбюро Кацнельсона

и отдал ему партбилет с коротеньким заявлением «...прошу исключить». Пришел домой... и дома в последнюю минуту струсил. Вместо того чтобы покончить с собой, подался в ресторан и напился там до потери сознания. А когда вернулся домой, и мысли о физическом самоубийстве как ни бывало. Я решил, что достаточно политического самоубийства. Оно и свершилось.

– Перестань ныть, – оборвал Александр, – ты что, совсем мозги пропил? Ты хоть соображаешь, что несешь? Если из-за этой дури люди станут кончать счета с жизнью, в России веревки не хватит. Как мне вся эта мышьяная возня партийцев обрыдла, кто бы знал. Но и ее можно было бы вытерпеть, не пролей они столько кровушки. Так им борьба требуется не только на бумаге, они свои циркуляры в жизнь претворяют, а кровь рекой льется и, заметь, невинных людей. Да как подлецы обнаглели. Меня вот на Алтае в 20-м прихватила губчека якобы за связь с эсерами, да выпустили через две недели, хотя свободно могли в расход пустить. Сидит такой «кто был никем, тот станет всем», морду кривит, спрашивает: «Каково твое отношение к нашенской советской власти?» Отвечаю: «Ненавижу...» У него аж глаза на лоб полезли, а рука к револьверу. Пришлось добавить – «... как всякую другую». Сейчас бы этот номер не прошел. А тогда товарищ лишь гаркнул: «Анархист, что ли?!» И отпустил.

– Я лишь потом, месяца через три, уже в Москве понял, что просто заболел, – прервал его Павел, торопясь высказать то, что еще никому никогда не рассказывал, понимая всю болезненность и неправильность своей истеричной откровенности. – Психостения в тяжелой форме, определил врач, когда я ему поведал, что по ночам хожу по улицам и считаю окна в домах. Жил я, Александр, в то время нелепой, почти дикой жизнью...

Но он, казалось уже не слушал его, и получалось, оба они думали и говорили об одном, наболевшем, а каждый гнул в свою сторону.

– Больно, но приходится соглашаться с тем, что мало меняется человек и как легко вызвать черные силы, пролить кровь, – опять повернул Балин разговор в свое русло. – Даже у нашего многострадального народа. Ничему не учат нас страдания, разве что одно-два поколения, пережившие очередные ужасы. Доколе ж так будет?

– Живем как можем, – бездумно бросил Павел.

– Не можем и не живем, – сказал как обрезал Александр и неожиданно предложил. – Может, к партизану зайдём, водочки выпить?

Дом на Марата, где писатель Петров недавно получил квартиру, был только что выстроен и выгодно отличался от старых деревянных домов в округе. Высилась невдалеке каменная громада, подавляя старые купеческие особнячки с затейливой вязью кружевных наличников.

– Могут же, если захотят, – кивнул Павел на дом и тут же пожалел о своих словах.

– Не пришли бы большевики к власти, тут уж бы все было застроено и еще лучше. Сколько времени и сил растратили мы в этой смуте. Не кажется ли тебе, что большевикам потому и удалось увлечь за собой народ и столько долго править его в свою сторону, что он от них ждал осуществления высших идей. Подобных тем, что давала религия. А они заменили их на эрзац. Но вера в Бога – вера трудная, многим не по силам. Нет сил ждать царства небесного, хочется его устроить здесь, на земле. Большевики же обещали его уже завтра, ну, послезавтра, на худой конец. А вышло – после дождичка в четверг. Увлекли, заманили, позволили безнаказничать и еще бы позволяли, если бы те не только заботились о животе, да больше о своем, чем народном. И не свели свою веру на нет. И еще – сами-то они меньше простого люда веруют в то, что провозгласили, но мудрят и домудряются. Правда, их сейчас все меньше и меньше остается. Ты окинь умственным взором, что творится вокруг. Каких тузов вышибают!

– Нет, ты и впрямь готовый контрреволюционер, замашки у тебя еще те, старорежимные... – протянул Павел.

– Перестань, политграмоты, что ли, обкушался, – раздраженно махнул он рукой и добавил, – с тобой лишь водку пить хорошо и пиво тоже.

Глава 3

И все это так явственно, так живо припомнилось ему, что Павел Иванович глухо просто-на-нало – надо же, до глубокой старости дожил, а не научился избавляться от ненавистных воспоминаний. «Да успокойся ты, никто отсюда тебя уже не достанет, не учинит спроса», – приказал он себе. И, растирая холодными пальцами виски, добавил: «И отсюда тоже».

Сон не шел. А ему так хотелось заспать страх и стыд, всколыхнувшиеся в нем этой волчьей ночью. Отгоняя воспоминания, он привычно попробовал сосредоточиться на других мыслях. Продумать то, что его давно уже волновало: для чего выпало жить на этой земле, мало радуясь и много мучаясь, и что с ним станет после? Странное дело – пока не остарел, был молод и полон сил что-то изменить и поправить, такие мысли в голову не приходили.

«Все мы крепки задним умом, – мрачно подумал Павел Иванович. – Поневоле позабудишь тем, кто умеет гнать прочь тоску-печаль, скользом мимо себя, в никуда». Ни к чему было это самокопание, от которого в таком возрасте один вред здоровью, но помимо его воли возникала потребность разобраться с собой. Словно кто-то извне и свыше спрашивал с него за прожитую жизнь. Смутные тревоги терзали усталую душу. «Да что же это такое? – сжал он бескровные губы. – Может, этот странный сон есть какой знак?» И в какой раз пожалел, что рядом нет жены, единственного человека, сумевшего бы отвлечь его от рвущих сердце воспоминаний.

До ее последнего дня Павел Иванович и не подозревал, каким тоскливым, каким беспросветным может быть его существование. Все-то ему казалось, что она будет с ним до скончания века. Смерть жены застала его врасплох – вечером легла спать, а утром не проснулась. Отошла в мир иной тихо, незаметно, так же, как и жила. Но с той поры в доме тишина стала тягостной. Никто не брякнет посудой на кухне, тихонько не прошелестит тапочками за спиной – не помешать бы, муж работает. И некому в досаде, что труд не движется, выразить недовольство. Вот только сейчас Павел Иванович осознал, что свою значимость он ощущал через жену. Никто, кроме Тоси, не мог оценить его полной мерой. Да никому из них, друзьям и недругам, он и не верил, что бы ни говорили. Не поддавался ни хуле, ни похвале. Знал им всем цену. Да и не было уже давно ни настоящих товарищей, ни настоящих врагов, будто остались все они в далеком 37-м году. Так давно, что уже и не верится, что были когда-то эти жуткие времена, которые вовсе так трагедийно тогда не ощущались. Ибо в мгновение бытия не можешь оценить всю полноту несчастья или счастья. И только отдалившись, сможешь окинуть жизнь одним взором, оценить и определить свое место в ней, если на то ума хватит. Чего Павел Иванович упорно делать не желал: прожитой отрезок несчастной жизни хотелось вычеркнуть из памяти. Изучая по документам и публикациям историю тех лет, он давно разобрался, кто палачи, а кто жертвы, а вот поставить себя в один ряд с пострадавшими или убиенными не мог. А может, и стоило записать себя в жертвы? И вовсе не потому, что живой остался, невредимый. И дожил до конца советской власти – что уж вовсе ни в какие рамки не укладывалось. Оттого, наверное, что страх пополам со стыдом ледяной змейкой чутко дремал в груди все это время.

Ах, какие счастливые вечера бывали у них! – вспоминал Павел Иванович. Когда он, уютно расположившись в кресле в своем рабочем кабинете, делился с женой своими замыслами. Теперь-то он хорошо понимал, чего стоили все эти прожекты... Да, прожекты, но тогда... Ласково сияли ее глаза, в которых он читал ее немое обожание, восхищение его талантами и благодарность просто за то, что он у нее есть. «Бедная моя», – всхлипнул Павел Иванович и вдруг подумал, что смерть жены все же помрачила его доселе крепкий ясный ум. Иначе разве допустил бы он эти невыносимо тоскливые ночные страхи?

Образ жены расплывался, растворяясь в невыносимых далях. И думал он о ней сейчас с особой нежностью и обнаженностью чувств, доселе неизведанных. Мысли были высоки и

бесплотны. Умиляясь, воображая и додумывая ее, в сущности он мало знал эту единственную женщину, любившую его без памяти и которую, кажется, выпало счастье любить ему. И тут же с удовлетворением отметил что нашел верное средство отодвигать страхи – с помощью приятных воспоминаний. Только нет-нет да примешивалась некая досада. И не досада даже, а так, легкая тень ее. Будто взяла верх над ним, ушла, не спросясь, заставив страдать. Несправедливо как-то, лучше бы наоборот. Он зябко поежился под одеялом и повернул лицо к окну. Небрежно заклеенное неумелой рукой, оно опахнуло его холодом. Да не переклеивать же, март стоит на дворе.

Утром прошлого дня, сбривая трехдневную сизую щетину, рассматривая в зеркале свое лицо, внешне заметных перемен не приметил. А вот глянуть в глаза отчего-то не решился. Будто чувствовал, что в самой глубине их плещется мутный страх. Но еще утром было бы по меньшей мере странно признаться себе, что он, старый, умудренный жизнью человек, как ребенок боится сам не зная чего! «Так ли уж не зная?» – споткнулся он в мыслях.

Снять страхи можно было, поделившись с кем-нибудь этими мыслями. Да откровенничать его давно отучили. Таких, как он, стариков, осталось по пальцам перечесть, и не с каждым заикнешься о прошлом... У каждого найдется своя причина умолчать о том времени. Ну, а те, кто помоложе, что они знают о случившемся? Молодые хоть и жили с Павлом Ивановичем в одном времени, а несло их по нему порознь. Эту непонятную сегодняшнюю жизнь Павел Иванович не принимал. И, глядя на уверенных, раскованных, хорошо одетых людей, втайне подозревал, что и в них существует этот липкий страх. Да и как ему в них не быть, если он селится во всех без исключения людях, даже тех, кто никак не изведает выпавшего на долю стариков. Не мог страх не вползти, не передаться по наследству, если так густо затопил землю. Нет, его правда, люди лишь вид делают, что живут весело и вольно. А у самих, поди, поджилки трясутся. Ведь и с отчаяния в буйное веселье впадают. Но стоит страху лишь поднять плоскую голову, задрожит, затрепещет, возопит всякая душа: большая и маленькая.

Солнечный умиротворенный денек стоял вчера, но к вечеру сладился ветер и ночью разошелся в полную силу. Слышно было, как летает он за окнами по обледенелым улицам, громы-хает жестяными крышами. «Стужу нагоняет», – решил Павел Иванович, поджал коченеющие ноги – и теплые носки, еще женой связанные, от холода не спасают. Кровь остывает, не только чувства.

Была молодость – и нет ее. Осталось от нее только легкое, как дуновение ветерка, ощущение безграничного счастья. Развевающееся невестино белое платье Тоси. Качели в городском саду. Вот приближается ее лицо и отдаляется тут же – и нет сил удержать его в бесконечном полете. Туманная пелена застит умственный взор, и вновь наползает страх, оковывая грудь. Отзывается спазмами и болит. А чему там болеть? Душе? В нее Павел Иванович не верил, избавился от предрассудков еще в молодые годы – революция помогла раскрепоститься. Многие из его окружения еще и до оной с неизъяснимой страстью расставались с крестом. «Будто кто за руку водил, – подумал Павел Иванович, растирая онемелую грудь, – одним махом же обратил в новую веру». С одной лишь разницей – в Бога можно было не верить, а в марксистско-ленинское учение нельзя.

«Но как ни водил лукавый, а ведь я верил, втайне от всех, даже от себя», – мелькнула ошеломляющая догадка, и Павлу Ивановичу полегчало. «Конечно же, есть душа, обязательно должна быть, сколько умных людей, не чета нам, знали это, не сомневались даже», – прошептал он, озаренный счастливой мыслью. Но ум противился сердцу, поворачивал мысли вспять. Вот что умел Павел Иванович делать хорошо, так это подбирать доводы против. Как говорится, доверяй, но проверяй. Не мог отказать себе в невинном удовольствии попытаться возразить очевидному – так, поиграться да рассыпать, как карточный домик. Было совсем убаюкал он свой страх и стыд, и заснул бы скоро, да тронуло воспоминание, связанное с похоронами жены.

...Под вечер уже Павел Иванович обнаружил у гроба ветхую старушку. Глянул на нее мимоходом и забыл бы, но кто-то шепнул, что это дальняя родственница жены. И он с трудом припомнил давний ненастный день, поездку в предместье за картошкой. И как измучился тащить на себе тяжеленный мокрый куль. Да теперь он вспомнил ее, тогда еще энергичную и веселую хозяйку. Сейчас же она, в чем только душа держится, осторожно несла на вытянутых руках блюдечко с водой, боясь споткнуться. Поджав синюшные губы, робко поставила его на табурет. И отошла в сторонку. Павел Иванович, убитый горем, казалось, ничему уже не мог удивиться, а тут спросил:

– Зачем блюдце?

– А то как, касатик? Душа усопшей, прежде чем проститься с белым светом и отлететь, напиться захочет перед дальней дорогой...

Дальше он себя плохо помнил. В голове помутилось, и с ним сделалась истерика. Он кричал, топал ногами на эту безвинную старушку. А когда она замахала на него иссохшей рукой, умолая: «Тише, тише, нельзя...», вытолкнул ее из комнаты. Помрачение нашло.

Столь нелеп, ужасен показался ему сейчас тот поступок, что Павел Иванович лихорадочно принялся вспоминать, какое же он нашел тогда оправдание себе. И в самом деле, не мудрено такому случиться, этакое горе свалилось. Да и старуха, тоже хороша, без спроса с глупыми суевериями сунулась в дом. Тоже выдумала – блюдечко, душа... Еще бы попа пригласила. Скользили пустые мысли, а оправдания не было. Перед глазами стояло ее испуганно недоуменное лицо. Досада занозой уколола сердце – надо же, только наладился на сон, а в груди опять холодно, пусто и сиро. И стыд тут как тут – зачем прогнал, кому она мешала со своими пережитками, только ославился? Чего тогда испугался?

Но вспомнил, что вину пытался загладить разговором после похорон. Переломил себя и отозвал ее в сторонку на поминках. Долгий неловкий разговор тот стерся. Осталась лишь его малая толика.

– Да ты никак и смерти не боишься?

– А чего ее бояться, батюшка?..

– Неужто прямым ходом в рай небесный собралась, а там примут и не спросят – не нагрешила ли в чем? – сказал ей с какой-то злой завистью.

– Окстись, как же не грешила, по молодости бывало. Да только вот как думаю: зачтутся мои грехи. Может, какое малое дело, о котором и думать забыла, перевесит все их, зачтется мне на Божьем суде.

Павел Иванович всю свою жизнь считал, что знает многое, а до этого додуматься не мог. Может, оттого, что не относил себя к простым, темным до наук людям, которые у одного Бога защиты пытаются искать.

– Да ты, касатик, поди и Святого Писания в руках не держал, – поняла она его состояние, – оттого и мучаешься...

Павел Ивановича покорило, и он лишь буркнул в ответ:

– Держал, не держал, какое кому дело...

К тому времени он уже с десятков лет читал студентам курс атеизма. И по-хорошему, конечно, надо было бы почитать первоисточник. Но сколько ни брал в редком фонде библиотеки Библию, ни скользил глазами по строкам, пытаясь уловить смысл, но не давалось откровение. А для лекций хватало и вырванных из чужих текстов отдельных изречений, фраз, которые труда не составляло столкнуть, перевернуть, подвести под смешное или забавное. Что-то, а это он научился делать мастерски. Порою даже сравнивал свою деятельность с работой огранщика алмазов, который мог заставить чистой воды камень вспыхнуть красным цветом, а мог оставить его тусклым и погасшим.

Стыд было вытеснил почти осязаемый страх, одолевавший его этой ночью. Теперь Павел Иванович уверился, что его можно держать на почтительном расстоянии. И принялся усиленно

вспоминать свои старые записи, из которых собирался когда-то составить научно-популярный сборник. В молодости, в первые годы после революции, когда в обществе еще витали самые разнообразные идеи, пока еще он любил пофилософствовать на отвлеченные мысли. Оттого, видать, и в писательство потянуло. И если бы не злой рок, знал твердо, со временем выбился бы в известные. Да не повезло, хотя некоторые другие, кто слова с трудом связывал, удержались, расписались, чутко улавливая новые веяния. Да что писательство, все рухнуло тогда, всю жизнь заново переиначил. Но только и хватило сил потихоньку выкарабкаться в скромные преподаватели, как на грех марксистско-ленинской философии. Дальше было опасно идти, не та биография. Где-то хранили тайну до поры до времени документы, которых он всегда боялся.

«А что, если весь окружающий нас мир, вся Вселенная – всего лишь малый сгусток атомов в неизмеримом организме, которому и имени-то нет? Или того мельче? Кому-то там, за недоступными пределами, вдруг вздумается прооперировать это невообразимое тело. Рассечет плоть сверкающий луч скальпеля, покажется людям, что дунул солнечный ветер, и нет их, – вспомнил свои писания Павел Иванович. – А мы даже не успеем осознать ужас происходящего. Слишком быстро, слишком коротко пройдет невообразимый инструмент космического хирурга, сам слитый из множества микромиров».

«Но где здесь место для души?» – вернулся он к тому, с чего начал этот мысленный диалог. Не было ни сил, ни желания на пустые мечтания. Но и лежать неподвижно, ожидая приступа страха, было не вмоготу. Повернувшись на бок, он попытался было рассмотреть циферблат электронных часов, стоящих рядом на тумбочке. Часы были подарены на последний юбилей, но уже успели постареть. Тусклые зеленоватые цифры показывали черт знает какое время – 67 часов 93 минуты.

Со смертью жены в доме исчез уют и порядок. По углам, особенно в кухне, будто сам собой накапливался мусор, а вместе с ним завелись пауки и тараканы. А их нельзя было вымести веником. Вскоре проклятые прусаки облюбовали деревянный корпус часов, одним им известно почему. И теперь беспрестанно шебаршили внутри, постоянно что-то нарушая в хитромудром механизме. Всякий раз перестраивая время на свой лад. Павел Иванович боролся с ними как мог. Даже брызгал внутрь всякой дрянью, каждый раз переживая, что механизм выйдет из строя. Живность исчезала, время ненадолго восстанавливалось, но едва выветривался тяжелый керосиновый дух, живучие таракашки заселяли часовой корпус вновь.

«Слышь, Паша, – вздрогнул Павел Иванович, – так явственно раздался голос Балина, – а время-то имеет свою силу. И если живешь с ним в согласии, ты удачлив и счастлив. Идешь против его хода, будет все хуже и хуже жить». Павел Иванович робко посмотрел по углам – бред какой-то, никого вокруг. Нехорошая тишина стояла в комнате. Даже часы не тикали, не умели. Страх оказался куда как ближе, чем он думал. Навис душной пеленой. Но ведь ему было известно, как с ним разделаться – стоило лишь найти какое-нибудь подходящее объяснение и не обязательно доискиваться причины. А уж после заключить в подходящую формулировку, откуда страх не вырвется. Преподавая марксистско-ленинскую философию, Павел Иванович научился это мастерски делать.

Но как ни пытался сегодня подыскать подходящее понятие, не получалось – остарел ум. Или страх страху рознь? Ну, никак не отыскивалась искомая точка, от которой можно было полегоньку двинуться в нужном направлении. Куда ни кинь, получалось, вся его жизнь напичкана разными страхами. Как же глубоко надо забираться в своих поисках? И мыслимо ли это сделать без ущерба для здоровья? Павел Иванович облизал сохлые губы и понял, что до какого-то момента это были не страхи, а страхишки. Где, когда превратились они в одно жуткое омерзительное чудовище, пожирающее душу и плоть? Не было ему ответа.

«А хочешь, я тебе расскажу японскую притчу о времени? Японцы по-своему мудрый народ, хотя их мудрость не всем годится. Однако ты лучше послушай. Поначалу время тихо шепчет у двери жилища человека, и если он его не слышит, звякает в колокольчик. Потом

сильно стучит в дверь. И если человек не открывает ее – сбрасывает дверь с петель, человека с кровати и разрушает его дом до основания. Мудро, но верно. Не кажется ли тебе, что мы прослушали свое время?» – вновь возник в нем голос Александра, такой мучительно узнаваемый, что Павел Иванович зажмурился от сердечной боли.

Не выдержав, громко сказал: «Отстань, не мучай». Слова растворились в ночной ватной тишине. И еще тоскливее, поганее стало на душе.

Все они были начитаны, все были умны, все хорошо знали знаменитое чеховское, что раба надо выдавливать из себя по капле. Да мало кто подозревал, что это такое и как это сделать в будущем. Попробуй-ка, если ты не лицедей, выдави из себя слезу или стон, когда этого совсем не хочется? Или так это больно делать, что впору ором реветь. Не случайно же писатель нашел такое мощное слово: не избавиться, не оставить и так далее, выдавливать с тугой мукой, а иначе жить невозможно.

Нет, революция, на которую мы возлагали столько надежд не помогла человеку избавиться от рабства. А почему? Да потому, что оно в нем сидит глубоко и вовсе не монгольско-татарского ига. Другое рабство переполняет нас. А на поверхности: это трусость и страх, подлость и подличание, ложь и зло, всемирное зло. В известном смысле последние десятилетия не убавили, а прибавили нам рабства, причем в таких уродливых формах, что сразу и не рассмотришь это чудовищное искажение всей жизни.

Но и в самой душевной атмосфере страдания и обмана существует и прорезывается окно, сквозь которое является призрачный и еще слабый свет. И пока оно есть, сохраняется надежда, что свет этот выжигает опухоль рабства. Но нельзя думать, что произойдет без всякого вмешательства, само собой. Труднее всего бороться не с врагами народа, а с самим собой, со своим существом, изуродованным жизнью. Вырывать его из цепких лап рабства, в которых многим, представь себе, как ни странно, ощущать себя легче и уютнее. А делать то можно лишь высокими поступками ума и сердца.

Так и брел Павел Иванович по своей памяти одному ему известными тропками, и не кончалась ночь. Много чего было в его долгой жизни, есть что вспомнить, но странно мешались в памяти события, происходившие то в Москве, то в Томске, где он когда-то жил, то в Иркутске. Все это было так давно, так замыто, занесено песком времени, что уже мало походило на явь. И он плохо отличал правду от вымысла, и что в самом деле происходило с ним, а что с близкими ему людьми. Он столько правил свои воспоминания, засовывая поглубже неприятное и постыдное, оставляя лишь благопристойные страницы, что утвердился – так оно все и было. Но что-то случилось этой ночью – все воспоминания вели его к провалу, которого он так страшился и куда разом окунулся. Будто с головой погрузился в черную ледяную воду, удушливо хватая ртом воздух, тщетно пытаясь сбросить груз липких и ужасных воспоминаний. И понимал, беспомощный, что сделать это ему никогда не удастся.

Глава 4

...Из ночной темноты его втолкнули в залитый мертвым светом коридор.

– Руки на стену! – рявкнул молоденький лейтенант госбезопасности, вежливо молчавший весь обыск и разом перевоплотившийся в своем учреждении.

Павел, оглушенный арестом, медленно переставлял ватные ноги и никак не мог взять в толк – он-то почему здесь, и что им всем от него надо? Но злая воля людей в петлицах давила, заставляла беспрекословно подчиняться. И он послушно встал рядом с двумя горемыками, взятыми в эту ночь, и так же покорно вжал ладони в холодную склизкость крашеной стены.

– Стоять, смир-рна! – рыкнул не своим голосом лейтенант уже над самым ухом, хотя Павел и так стоял, не шелохнувшись.

Скоро он потерял счет времени. Спина онемела, ноги подрагивали в коленях, и он вдруг понял – не от усталости, от страха, растекшегося по всему телу. Наконец сзади раздались звонкие щелчки хромовых сапог. Так четко и уверенно шагать по каменному полу мог только кто-то из больших начальников – понял Павел, и слепая вера в свое спасение всколыхнулась в нем. Он еще несколько секунд жил ею – что вот, тронут его сейчас за рукав, извинятся, скажут: вышла ошибка, и отпустят. Шаги приближались, а вместе с ними и избавление от незаслуженных мук. Он весь напрягся, готовый по первому зову обернуться к спасителю, но тут увесистый пинок бросил его лицом на стену. «За что?» – вскричало все его оскорбленное существо и униженно умерло. Павел в отупении видел краем глаза, как блестящий командирский сапог вонзился в зад соседа, как тот покачнулся и только выдохнул мучительно сжатыми губами. Но тут же завопил во все горло стоящий за ним парень:

– Ты-ы... За кого меня держишь, гражданин-начальник-падла!

На этот истошный крик рванулись люди в форме, смяли, повалили на пол парня. Несколько минут слышались глухие удары, сопение, вскрики. Павел закрыл глаза. Екало, сжималось в груди от каждого удара, будто били его самого: молодого, талантливого, месяц назад въехавшего в новую квартиру с красавицей женой и маленьким ребенком. Эти черные лакированные сапоги прочно вколачивали в него страх, страх, страх! А он лишь покорно втягивал в плечи голову, моля об одном – только бы не меня, не меня, не меня! И если бы мог, слился бы с этой холодной, словно намыленной стеной, лишь бы не корчиться на грязном полу, выставывая пощадку.

Избитого парня, оставляя кровавую дорожку, уволокли, а он еще бесконечно долго, до ломоты в ногах, стоял в коридоре. Ужас произошедшего не укладывался в голове, но животный страх за свою жизнь уже гасил все другие чувства. Вскоре он потерял счет времени и не знал, длится ли ночь, или уже настал день. Потом его долго куда-то вели, пока не втокнули в кабинет, где за казенным столом сидел плосколицый с неподвижными припухшими глазами сотрудник.

– Садитесь, – не разжимая тонких губ, вежливо велел он, и леденящим холодом повеяло от его равнодушно-усталого лица. – Я, особоуполномоченный 4-го отдела управления младший лейтенант госбезопасности Жезлов.

Павел поежился и опустил на табуретку, не чувствуя онемевших ног. «Это конец, отсюда я уже не выйду, – панически подумал он, пряча глаза, – никто еще не вышел, кого забирали до меня». И, видимо, страдальческая гримаса исказила его лицо, потому что сотрудник тут же искривил тонкогубый рот, будто передразнивал.

– Так, Листов, литератор хренов, сам признаешься или надо с тобой работать? – сказал он в сторону и налил из мутного графина в стакан воды.

– В чем признаваться? – беспомощно пролепетал Павел.

– Так, ясно, – тяжело вздохнул сотрудник, – будем писать под протокол. Но учти, я вежливый, пока меня не сердят. – И медленно забубнил, поскрипывая пером ручки: – Вы арестованы по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации. Дайте показания о проделанной вами вредительской работе.

– Поверьте, ни в какой организации, кроме писательской, я не состоял, никакой работы не вел, – залепетал Павел.

– Не юли, Листов, следствие располагает материалами, уличающими тебя как контрреволюционера. Так что прекращай записывать и откровенно показывай: с кем, когда и как, – равнодушно произнес уполномоченный и без всякого перехода оглушил хриплым рыком: – Ты что, еще не понял, где находишься?!

– Да нет же, это ошибка, никакой работы во вред советской власти я вести не мог, я наоборот, – выдавил через силу Павел. Панически понимая, что не может доказать всю абсурдность обвинений.

– Следствию известно, что ты, имея контрреволюционные убеждения, систематически вел вредительские разговоры и агитацию.

Павел с тоской посмотрел на следователя. Перед ним сидел человек новой формации, переполненный грубой силой, тупой уверенностью, вооруженный несколькими постулатами, внушенными ему советской властью. Основанных на нетерпимости и ненависти ко всему, что противоречило их пролетарскому пониманию жизни. И злоба эта развернулась во всю свою мощь, как только породившие ее люди дали ей волю. Такие готовые на все уполномоченные всегда есть в народе, особо проявляясь в неожиданных, абсурдных с точки зрения здравомыслящего человека, преступлениях. В России, как говорил Балин, внизу власть тьмы, аверху тьма власти.

Следователь понял его молчание по-своему, глянул каким-то бычьим тяжелым замутненным глазом, вынул из обшарпанного, испачканного инвентарными номерами стола несколько листов, размашисто исписанных грязно-синими чернилами.

– А вот твой приятель с нами более откровенен.

– Какой приятель? – сжалось сердце у Павла, он хорошо знал, что сегодня пишут на многих и многие, добровольно или по принуждению, спасая свою шкуру, и все же чаще из-за боязни, страха, который, он это чувствовал всей кожей, был разлит над ними. Он и сам в последнее время, вспомнил Павел, писал по настоянию одного партийного начальника несколько бумаг, которые при желании можно было истолковать как подметные письма. Хотя как мог старался не подставить под удар близких ему по духу и по жизни людей, лукавил, изворачивался, характеризуя и оценивая их разговоры и поступки.

– Подельник твой, Александр Балин! – не смог сдержать кривую ухмылку оперуполномоченный.

– Известен, – покорно произнес Павел. Саша находился в этой тюрьме вот уже несколько месяцев.

– Тогда зачитываю: «К числу контрреволюционно настроенных людей я отношу Павла Листова, который в разговорах со мной неоднократно высказывал: “Я ненавижу советскую власть...” Как-то в 1936 году, встретившись с Листовым на улице, мы разговорились о строительстве. В частности, о жилищном. Павел Листов заявил, что если бы не было советской власти, мы построили еще больше и краше. Строительство начато не потому, что советская власть радеет за народ, а потому, что есть экономические законы, общие для всех строев. Когда-то же надо было начинать создавать, а не разрушать. И это не зависит ни от каких партийных указаний. Ведь мы шестнадцать лет живем мирно. Наш разговор на этом был прерван...» Ну и что скажешь теперь?

– Не было с Балиным подобных разговоров, – растерянно ответил Павел, внутренне сжимаясь от тяжелого предчувствия. Осенний разговор возле дома Петрова он вспомнил сразу, но ничего в нем не было такого, что бы указывало на неправильное понимание политики партии. Что-то они сделали с Сашей, который никогда не поступался своими принципами и не мог пойти на предательство. Да и слова эти были не его, не мог он так выражаться. А больше всего насторожила фраза о ненависти к советской власти. Павел хорошо помнил историю, как на допросе в Алтайском ЧК человек в кожанке спросил его об отношении к советской власти, на что Балин ответил коротко и емко: «Ненавижу! Впрочем, как любую другую». Судя по всему, тому, кто его допрашивал, было известно и о том случае. И он после вставил его в протокол допроса. А это значило, что бы он ни говорил, все равно припишут то, что надо им. Если не так, то Саша уже сошел с ума в этих страшных застенках.

– Мог, мог, я сам его допрашивал, нелегко пришлось, зато результат есть, – оживился следователь, и нехороший плотоядный блеск его глаз подтвердил догадку Павла. – Ты не трепыхайся, я многое знаю, о чем ты даже не подозреваешь. Я вас таких пачками раскалывал, не такие орлы слюни пускали и каялись во всех смертных грехах против советской власти. Ты

далее послушай, – и начал монотонно читать, проглатывая окончания, с грамотой, судя по его чтению, он был явно не в ладах: – «Павел Листов, говоря о литературе, часто упоминал, что писатели в своих произведениях не отражают действительность такой, какая она есть. А приукрашивают ее и врут лишь для того, чтобы их печатали. В прошлом Листов был коммунистом и вышел из ВКП(б) как несогласный с решением ЦК партии по вопросам отношения к оппозиции, считая политику партии неверной. Какие контрреволюционные взгляды высказывал Листов, я припомню в следующий раз». Ну и как теперь? Я его за язык не тянул.

Ответить Павел не успел, в кабинет стремительно вошел человек и молча махнул оперуполномоченному рукой – за мной! Тот было заикнулся: «А этот?» Но уже из-за двери доле:

– Пулей! Лупекин вызывает! Бросай все и лети!

– Сидеть! Не вставать, не шевелиться! – выдавил Жезлов, вскакивая со стула и, выбегая, прикрикнул на выводного, топтавшегося за порогом: – Смотри в оба!

Павел знал, что Лупекин возглавлял управление НКВД, и не удивился исчезновению оперуполномоченного – крут без меры был начальник. Получив передышку, Павел смог собраться с мыслями, но и минуты не просидел спокойно – на столе вразброс лежали листы протокола. Оглянувшись, двери были плотно закрыты. Вслушиваясь в каждый шорох, Павел привстал, склонился над столом. Глаза заскользили по корявым строчкам. «Протокол допроса Балина Александра Ивановича, 1890 года рождения, литератора-поэта, 4 мая 1937 года, особоуполномоченным 4 отдела УГБ мл. лейтенантом Г. Б. Жезловым». Листы лежали вразброс, и он читал, перепрыгивая с пятое на десятое. Важно было узнать, предал или нет его Балин, и сообразить, что ему самому грозит.

«У меня были колебания в правильности политики, проводимой советской властью. Я считал, что политика компартии по коллективизации не верна. Эта политика повторяет реформу Петра своей резкостью. Я считал, что раскулачиванием крестьянству наносят обиду. Давая оценку политики Сталина, я неоднократно говорил, что его политика резкая – усилила ряды оппозиции, реакцию с ее стороны. И если бы был жив Ленин, то он не довел бы партию до раскола, как это сделал Сталин.

...На современном этапе очень многих безвинных людей делают троцкистами, а затем арестовывают... По вопросу вынесения смертных казней в последнее время: если в будущем будут продолжаться такие действия советской власти, как вынесение расстрельных приговоров, то это вызовет у населения сочувствие к осужденным и они получат ореол мученичества.

...Я пришел к выводу, что в данный период нет свободы для творчества. Литераторы пишут по определенному заказу – штампу. В первые годы существования советской власти литераторам еще можно было жить и творить, а теперь создана такая обстановка, при которой пишешь не то, что думаешь, а то, что велят. В разговорах с писателями я говорил, что нам нужно писать для будущего и что будущий строй в конечном итоге должен быть анархическим, он и придет на смену коммунистическому».

«Зря он так», – подумал Павел, с трудом отрываясь от протокола. Перевел дух, пугливо поглядывая на дверь, за которой скрипели разошедшиеся половицы под ногами часового. Смешанное чувство: издевки, бесшабашности, неуместного ухарства на мгновение охватило его – дурачье какое, работать не умеют, а только бороться с ненастоящими врагами. И тут же впился глазами в жесткие листы серой бумаги. Строчки впечатывались в память.

«...Так как такие антисоветские разговоры были неоднократно, то я по существу проводил контрреволюционную агитацию. В этом я себя признаю виновным».

В своем уме Балин такого сказать не мог – вовсе уверился в правоте своей догадки Павел – значит из него выбили эти показания. Тот уголовник в ночном коридоре, конечно, сам виноват, но что если они поступают так и с политическими? Ведь что-то ужасное надо было сделать

с ним, чтобы он так чудовищно оговорил себя? Уж он-то знал, характер Балина – кремень, через свои идеалы не переступит.

«Следствию известно, что Андреев является убежденным фашистом, подтверждаете ли Вы это?» – споткнулся Павел на очередном вопросе следователя.

С Николаем Андреевым был дружен Александр. Вместе с ним Павел часто заходил к художнику домой и в мастерскую. Оба они принадлежали к той редкой породе людей, в ком ум, независимость и внутренняя свобода так естественно сочетались с великодушием и добротой. К тому же их взаимная привязанность подкреплялась еще и приверженностью анархическим идеям. Признаться честно, Павел всегда неизъяснимо робел и терялся в присутствии Андреева, он его как бы подавлял. Его как бы всегда было много, и он сразу заполнял собой, звучным голосом, движением любого размера помещение.

Прошлой зимой они столкнулись с ним на пустынной заснеженной улице. Высокий, в длиннополой волчьей шубе Андреев остановился, поздоровался, неторопливо раскурил неизменную трубку, пыхнул облачком душистого дыма и, обратив к ним красивое породистое лицо, заявил:

– Бражничать будем сегодня, братцы-литераторы. Желание имею выставить себя в лучшем свете. Считаю, достоин. Так что милости прошу проследовать в мою мастерскую.

И уже там, сбросив с плеч шубу и оказавшись в элегантном, безукоризненно пошитом костюме, показал им только что законченную, не снятую еще с подрамника, картину. С полотна смотрел мудрыми, все понимающими глазами северный человек. В одеждах, пошитых из шкур, опершись о посох, стоял он у необычайной красоты гор. Над скалистыми вершинами висли густые свинцовые тучи. И лишь теплый огонек непотухающего очага в чуме скрашивал его одиночество. И такая первобытная сила, неиссякаемое терпение исходили от этого отшельника, что поневоле пришли мысли о тщетности и мелкости всех их городских дел и забот. И как сумел художник выказать сирость и убогость всей современной жизни одним портретом – для Павла оставалось загадкой.

А Николай, довольный произведенным впечатлением, оживленно рассказывал:

«Еще в начале двадцатых годов пофартило мне побывать с одной гидрографической экспедицией за Полярным кругом... И занесло нас однажды на необитаемый остров, называемый “Остров Мамонтовых могил”. Это неподалеку от бухты Тикси. Места там дикие, красоты фантастические, не будь я человеком, избалованным цивилизацией, остался бы там жить навсегда. Но большее потрясение испытал я от встречи с этим вот робинзоном. Представляете, года за два до нашей встречи охотник-томаксит попал сюда на льдине, оторвавшейся от материка, и с тех пор жил в полном одиночестве, с одними собаками все это время. Как он выжил, что пережил – разговор отдельный, да и не в том суть. Я пока лихорадочно делал эскизы с натуры, об одном только и думал: что вот этот счастливый человек и не подозревал, какие бури бушуют над нашей землей. Пронесется снежный буран, засыплет его чум, он откопается заново, зверя добудет и вновь живет в труде и спокойствии. Потому что иначе нельзя, пропадешь. Смогли бы мы столько продержаться и не погибнуть, не знаю. Вряд ли. После я часто думал, что ведь таких благословенных мест в мире не так уж мало, где люди живут, а не выживают, не режут друг друга на куски. И почему нам выпала такая жестокая доля, чем мы прогневили Всевышнего. Ну да ладно, что теперь, одна буря пронеслась, будем надеяться, что минет нас и другая. Лучше я вам покажу моего дорогого чалдона».

И поставил напротив окна другую картину. Мягкий снежный свет высветил до малейшей морщинки выразительное сибирское лицо.

– Товарищ мой, Василий Егорович Галкин. В Пивоварихе проживал. Ух и крепкий хозяин был, настоящей мужицкой породы. Крепко на ногах стоял, деньги в коммерческом банке держал. Да лопнул тот банк, началась круговерть революционная. Город сыновей утянул. Добили его все эти передраги окончательно, себя потерял, смысл всей жизни. И ослаб

духом... А после покончил с собой, застрелился. Вот и сравните теперь его с тем отшельником на острове...

Потом они долго сидели за столом, выпивали и говорили, но будто тени двух людей, навеки запечатленных на холсте, витали над ними в мастерской – непривычно печальный был разговор. Оттого, наверное, остался в памяти Павла полуистертым.

– Я, братцы-литераторы, многих знавал, с самими Маяковским и Хлебниковым общался, хотя теперь фигуры разного масштаба, но это временно, и еще неизвестно, кто в веках останется, – рассказывал Николай. – В те времена я в Киеве учился, в художественном училище. Жил у дяди. Он у меня банкиром был. Ну и обстановка, и люди, соответствующие положению. Со знаменитостями меня знакомил все тот же Давид Бурлюк, отец русского футуризма. Вот были времена. А теперь... Нет, представьте только себе, вызывают меня летом в обком вэкапэбэ, и мне – анархисту! – дают задание: за месяц нарисовать картину полтора на метр с лишним. Ну и это не беда, я быстрее могу исполнить полотно. Партийцы мне тему диктуют: стахановец и стахановка в условиях трудового процесса. И ведь знают, что я к международной выставке в Париже, между прочим, готовлюсь, приглашение получил. Я им от ворот поворот, пусть злятся, ну не могу я по заказу пролетариев рисовать. Вот «Томаксита» повезу в Париж, «На севере дальнем», «Партизан». «Плотогонов» начал, да боюсь не успею.

Не успел и не съездил никуда. 29 апреля 37-го был арестован, следствие длилось год. Покалеченный, с выбитыми зубами и сломанными ребрами Андреев твердо стоял на своем, утверждая, что будущее за «советами, но без коммунистов».

Павел вспомнил, как однажды застал его за странной работой. Николай быстро и уверенно клал мазки на полотно, насвистывая веселый мотивчик. А он долго не мог прийти в себя от изумления – очень уж любопытная получалась картина. Андреев рисовал беседку в Ялте, на фоне моря сидел он сам, но со Сталиным в обнимку, маленький и плюгавенький Ежов подливал в их бокалы рубинового вина.

– А ну как узнают, упекут... – ахнул тогда Павел.

– Не дрейфь, зато весело. Правда ведь не может быть равной для всех. Как и хорошая картина. Если даже двое одновременно и с одного ракурса смотрят на полотно и видят на нем небо, воздух, улицу, солнце, воспринимают изображенное по-разному... Тут одному может быть холодно, а другому – жарко. Правда, она у каждого своя, истина одна. Но ее до конца не постичь... Это все равно что задаваться детским вопросом: «А вперед какая была вода: грязная или чистая?» А в самом деле, какая?..

Но все это было в прошлом, а сейчас Павел вчитывался в строки протокола, торопясь успеть прочесть как можно больше из аккуратно разложенных на столе листов. И одновременно успевал очень многое: запоминать протокол допроса, подумать об Андрееве, прислушиваться к шагам за дверью, отмечать, что в протоколе везде обращаются на «вы», а в разговоре тыкают, как бродяжке на улице.

«Андреев является носителем фашистской идеологии, заявляя, что славянская раса по праву должна занять главенствующую роль в Европе. Давая оценку германскому фашизму, Андреев восхищался Гитлером, говоря, что с приходом фашистов к власти Германия вновь превратилась в могучее государство. Андреев говорил, что фашизм – это созидаящая сила». Ну не мог Балин так выражаться, не мог, мало кто даже из литераторов умел говорить так образно и точно, как Саша, а тут будто с политагитки списано. Верно, оперуполномоченный руку приложил, наштамповал фразы для удобства понимания.

Но раздумывать было некогда, и Павел жадно поглощал крупно и косо написанные строчки.

«– В чем выражалась связь Павла Листова с Андреевым?

– До прошлого года они были в очень тесных отношениях, бывали друг у друга. Андреев как художник оформлял книги, написанные Листовым.

– Следствию известно, что связь между ними имелаась на политической почве, то есть путем разделения ими контрреволюционных взглядов. Почему Вы об этом умалчиваете?

– Никогда не слышал, чтобы они говорили о политике».

Еще бы, улыбнулся Павел, мы вместе водку пили и о творчестве говорили, а еще о паскудстве жизни. И продолжил читать.

«– Вы сами себе противоречите. Утверждаете, что Андреев и Листов являются людьми контрреволюционно настроенными и в то же время отрицаете их связь на политической почве.

– Андреев считал Листова несерьезным человеком и своими политическими убеждениями с ним не делился. По крайней мере при мне у них разговоров на эти темы не было».

И Павел понял, что Саша пытается обезопасить его. И мысленно поблагодарил за то.

«– А Вам Андреев политически доверял?

– Я считаю, что при мне он говорил откровенно...

– Зная Андреева, как контрреволюционно настроенного человека, который Вам доверяет, Вы были в курсе всей контрреволюционной работы, проводимой им. Почему об этом умалчиваете на следствии?

– Ни о какой такой работе я не знаю. А знаю его лишь как человека контрреволюционно настроенного и с которым неоднократно вел контрреволюционные разговоры».

С ума можно сдвинуться от таких оборотов. Да это же полная подтасовка.

«– Вы лжете. Вы являетесь участником контрреволюционной организации, той самой, участником которой является и Андреев. Не знать о проводимой им работе вы не могли. Прекратите запирательство и дайте чистосердечные показания.

– Никогда участия в контрреволюционной организации не принимал. О существовании таковой не знаю и не знаю, что Андреев состоял в ней.

– Расскажите, кого из знакомых Андреева знаете?

– Поэта Константина Седых. Живет с ним в одном доме. Писатель Павел Листов. Поэт Ольхон. Рабочий типографии Басов. Птицеловы, фамилии их не знаю».

Павел дочитал последний лист протокола и перевел дух, окончательно уверившись, что сломить Балина им не удалось. Что бы они не писали в своих протоколах, все обнаруживало явную ложь. Ничего у них не выйдет, ничего им не доказать. Он еще не знал тогда, что никакие особые доказательства и не потребуются. А все необходимые бумаги будут изготовлены для оформления уже принятого решения. Как не мог знать, что через месяц после смерти товарища страшная бюрократическая машина все еще будет проворачивать свои ржавые колеса. Следователь принесет на продление уголовное дело Балина, а начальник красным карандашом наложит резолюцию: «Знать бы надо, что подследственный уже умер».

Павел отпрянул от стола, сел на табуретку и холодно подумал, что уж его-то им не посадить, хотя догадывался, что при желании здесь могут пришить любое политическое обвинение. Из всего этого следовало, что вести себя с ними надо как можно спокойнее и увереннее. Лишнего не наговаривая на себя и товарищей. Тут, похоже, услужливость привечают, но не очень ценят. Дальнейшие события опрокинули последние надежды на порядочность людей из этого ведомства, едва вернулся оперуполномоченный Жезлов.

Весь какой-то всклокоченный, еще более помятый, он мельком глянул на стол, покачал головой – надо понимать, своему головотяпству. Усмехнулся и вперил неподвижный взгляд в Павла, поверить не мог, что этот сломленный еще в коридоре жалкий человечешко способен на поступок.

– В камере продумаешь и завтра во всем признаешься. Если нет, изувечу, – пообещал он ровным голосом, каким приглашают выпить чашку чая. И так это зловеще прозвучало, что улетучились остатки мужества, напряглась в страхе каждая жилочка. И Павел впервые физически ощутил смертный ужас.

Последнее, что запомнил Павел Иванович, прежде чем провалился в тяжкий, но спасительный сон, чей-то участливый голос, раздавшийся с верхних нар: «Бумаги подписывал? Нет еще? Ну и дурак будешь, если подпишешься!»

Глава 5

– Стыдно-то как, – выдавил из себя Павел Иванович и тут же поправился – это теперь, когда все позади, стало стыдно, а тогда один страх, только страх. Слово против, и измеси́ли бы сапоги, как того уголовника...

Тут же в памяти всплыло страшное лицо избитого парня – один сплошной кровоподтек. Старческая память, казалось, давно должна была бы стереть такой давности воспоминания. Но будто кто услужливо выталкивал на поверхность лица, фамилии, события. С тем парнем он оказался в одной камере, и там он узнал, что парень попал под политическую статью по недоразумению. Взял на гоп-стоп подвыпившего гражданина той ночью, а он возьми да окажись высокопоставленным совслужащим. Обыкновенный грабеж превращен был в теракт и потянул на все «пятнадцать». В следственной тюрьме управления НКВД уголовник не задержался, быстрее всех ушел по этапу.

Павел Иванович с трудом втянул в себя воздух – показалось, что временами он перестает дышать и только сбив сердечной мышцы возвращает дыхание. «Теперь знаю, когда вполз в меня этот змееныш-страх. В ту судорожную ночь. И с тех пор обитал во мне, разрастался».

Первое время только и делал, что глушил его в себе как мог. Пока не притерпелся к нему, не запрятал глубоко в себе, но всегда где-то на подсознании понимал, что страх помог ему выжить. Да, перевернул всю его жизнь, погнал из этого города, заставил бросить писательство и навсегда забыть псевдоним, под которым печатался. Преподавать марксистско-ленинскую философию оказалось безопаснее, сытнее, а жить спокойнее. И по всему выходило, что тюрьма научила его уму-разуму. И следовало успокоиться, а уж сейчас, когда осталось совсем ничего, напрочь избавиться от тяжких воспоминаний. Непросто было вычеркнуть из жизни полгода, проведенные в следственной тюрьме, но смог же в свое время. Помнить это – себе дороже. И до сей ночи Павел Иванович прочно держал те тяжкие события на расстоянии, выработав умение представлять, что все они произошли как бы не с ним, а с кем-то другим, чужим ему человеком. С тем и прожил, не случись эта окаянная мартовская ночь.

Павел Иванович откуда-то знал, что никто из бывших сокамерников не выжил, больно уж статьи для спасения были неподходящи. И не понимал, для чего ему это знание было дадено. Но сейчас все они чередой проходили в его памяти, и удивительно четко всплывали лица, жесты, даже говор. «Зачем мне это?» – вяло сопротивлялся он, но поделать с собой ничего не мог, погружаясь в темные глубины памяти.

...Илюша Метляев, русоволосый, скуластый, улыбчивый парень из глухой деревеньки, ерошит коротко стриженные волосы и виновато улыбается: «Я ж ему талдычу – мол, ошибка вышла. Нас, Метляевых, целая улица проживает, да и отчество не мое указано. А он заладил одно и то же – раз привезли, значит, виноват. Ночь простоял у стены, вторую, опух весь, да и признался в том, что мост в деревне сжег. Вот одурачил его, так одурачил. Мост-то до сих пор целый стоит, кому он нужен. Проверят и отпустят, ну, пожурят, штраф выпишут за вранье...» Откуда ему было знать, что никто и проверять не станет его показания. Затвердят на бумаге и отправят по этапу вместе с Николаем, студентом пединститута. Тому приписали участие в бухарско-троцкистской группировке. А все обвинение выстроили на показаниях сокурсников, которым он запальчиво ответил, что не пойдет на политзанятия, потому как и без того убежденный марксист. В это и сейчас трудно поверить, а тогда и вовсе было невозможно.

За полгода в камере перебивало немало разного народа, но эти двое вспоминались ярче других – тревожили Павла Ивановича с того света. Может, потому, что тогда они более других

поддерживали его веру в то, что он также взят по нелепому недоразумению. Только вот кривая судьбы вынесла его из подвала на свет, и была ему одному явлена милость. Что указывает на справедливость.

Нет, определенно что-то неладное творилось с ним в эту ночь. Образы сокамерников пропали, и вновь зазвучал в нем голос Балина: «В сущности, писателю немного надо. Комнату за толстыми стенами, стол да стул, кровать, крепкую дверь с окошком для подачи пищи. Полу-чается – камеру и пожизненный срок добровольного заключения! Да, забыл – форточку, чтобы иногда слышать детские голоса». Пошутил, называется, как накаркал себе все это, и получил сполна, кроме детских голосов.

Павла Ивановича взяли последним из писателей. Только в камере он сообразил, как был неосторожен, неоправданно самоуверен. Как все они были беспечны и наивны, а ведь прекрасно понимали, в каком живоглотном времени живут. Прятали голову как мокрая курица под крыло. Глупо соглашались, что забирают лишь врагов народа, и сколько Балин их ни разубеждал – не верили. Каждый думал, что уж его-то обнесет злая доля. Да и впрямь, не было за ними никакой такой вины, чтобы хватать и тащить в кутузку. Но это в страшном ведомстве в расчет не принималось. Уже на втором допросе он сообразил, что взят лишь в довесок к раскрученному писательскому делу. И без него на Гольдберга, Петрова и Балина насобирали столько всяческого материала, что хватило бы подвести под расстрел десятерых. И поняв это, правильно повел себя, скупно и осторожно, не подставляясь, стал выдавать требуемую следователю информацию, выставляя себя как случайного свидетеля чужих поступков и опасных разговоров. При случае ссылаясь на письма, в которых он сообщал партийным органам о неправильном поведении его товарищей.

– Хорошие были люди, – с искренним раскаянием думал Павел Иванович, лежа в темноте, – и счастье мое, что никто из них не показал на меня, а языком тогда я тоже как помелом мел, особенно в подпитии.

«Зато и выложил все, что знал или узнал по первой подсказке следователя», – произнес все тот же отстраненный холодный голос, и вызвал острое желание возразить.

– Я говорил чистую правду, не мог же я лгать следствию! Да ничего крамольного и не совершили мои товарищи. Откуда ж мне было знать, что любую фразу там переворачивали по-своему и делали контрреволюционной. Они только и ждали, чтобы я начал врать, путаться, моргнуть бы не успел, как уличили во лжи и отправили на дачу Лунного короля. Так необычайно красиво прозывали место за городом, где по слухам и расстреливали врагов народа.

«Страх перед сапогом гнал тебя, поторапливал. Следователь едва успевал записывать. Нечего мученика из себя строить, – прозвучала страшная и постыдная правда. – Вспомни его довольную рожу, когда он объявлял тебе об освобождении, и еще извинялся за ошибку. Как взяли, так отпускали тебя ночью, значит, хотели, чтобы никто тебя не увидел. Не понял, что отпущен не просто так».

– А ведь Балин уж умер тогда в тюрьме, как сообщили от сердечной недостаточности. Андреев чуть позже – якобы от чахотки. Забили их обоих сапогами, изуродовали, сломали, а я живу. А лучше было бы, если и я сгнил бы во рву? – Павел Иванович, поняв, что говорит в полный голос, умолк, а в памяти воскресла случайная встреча с женой Андреева, как она украдкой показывала ему портрет сокамерника Николая, учителя Сергея Ивановича Полу-хина, выполненного карандашом на лоскуте материи. Как со слезами на глазах рассказывала, что получила полотняный мешочек, в котором носила передачи, после смерти мужа и не сразу обнаружила внутри его пришитый лоскут. Картины Андреева тогда уничтожались и спасти ей удалось очень мало. Чудом сохранила на чердаке у соседей «Томаксита», «Собак Севера» да незаконченное полотно «Партизаны».

Внезапно нахлынул запах клейких тополей, теплого, не остывшего за ночь асфальта, прибитой дождем пыли. Тревожно и вместе с тем сладко сжалось сердце – он вспомнил, как

его шатало от этих пряных запахов. Как, как он ухватился за шершавый ствол старого дерева руками и долго так стоял, не в силах передвигать ногами, ослабшими в камере. Сумел отойти лишь полсотни шагов от тюрьмы. Тогда как надо было опрометью бежать домой. До его дома, в котором он незадолго до ареста получил квартиру, скорым шагом идти было десять минут. От пахучего воздуха кружилась голова или от счастья – он не знал. Шаркая валенками, едва передвигая ноги, добрал до угла улиц и опустился на широкие влажные от ночного дождя ступеньки крыльца магазина. И принялся жадно всматриваться в редких прохожих, с оглядкой проходивших мимо. И впитывал, впитывал в себя утреннюю свежесть и сладкую живую тишину. Пожалуй, он мог бы бесконечно долго так сидеть, но все время чудилось, что неподалеку неслышно расхаживает конвоир. Всего за полгода потерял он свою быструю летучую походку и так уж никогда не приобрел вновь. Из камеры Павел выбрался старым, если и не телом, то душой. Так и прошаркал всю жизнь.

Но мог ли тогда думать о том? Жив, свободен, счастлив! И с каждым шагом восстанавливал утраченную было в каземате веру в справедливость. Не лучшее ли тому подтверждение – его чудодейственное освобождение. Только вот никак не укладывалось в голове, что все это безразмерное счастье зависело от крючковаго росчерка следователя на серой бумаге. Так просто, такая малость – не успели высохнуть чернила от росчерка пера, как ты жив, свободен, как все эти граждане, с опасливым любопытством поглядывающие на его бледное лицо. Павел готов был каждому улыбаться и, кажется, пробовал это делать, но будто шарахались от него люди. Долго ему пришлось после избавляться от этой угодливой улыбочки, прилепившейся в кабинетах следователей.

Павел Иванович вздрогнул – так явственно, так ярко всплыло в памяти его возвращение к жизни. Усилием воли он попытался оборвать воспоминания, от которых тупой болью ныло сердце, и не мог, будто кто внушал сверху – помни и знай.

...Робкий рассвет сменился бликующим в лужах солнцем, когда он, устав переставлять ноги, обутые в валенки – в чем забрали, в том и вышел – добрал до дома и стукнулся в двери своей квартиры. И кажется, не удивился, что открыл ему небритый, опухший мужик. И тому, что в коридоре перешагнул через другого, спавшего на вытертом тулупе, и еще через нескольких, провонявших овчиной, лошадыми и махоркой. Везде: в кухне, в горнице спали чужие люди, но ему было не до них. Он напрямки шагал в спальню, к жене и ребенку, еще не ведающим, что он не враг народа.

Такого счастья у него никогда не было. Он обнимал плачущую от радости жену, тискал сынишку. Ничто не могло в это утро омрачить его настроение. Помнилось, выпроваживал мужиков, как оказалось, работавших по найму на заводе и подселенных сразу после его ареста – молча, настойчиво, как и положено хозяину выставлять непрошенных гостей. После, все еще маленько не в себе, кипятил воду и поливал каждую щель в полу, ошпаривал мебель и детским горшком выносил клопов. Пока не изничтожил всех до единого. Все радовало его в это солнечное утро: и милый говор жены, и лепет сына, и каждый живой звук за окном, и даже, казалось, чайная ложка в стакане тоненько позвякивала – сво-бо-ден!

Зачем все это было со мной? – недоуменно спросил себя Павел Иванович, оглаживая грудь костлявой рукой. – К чему вновь эти мучения, липкий страх? Что я такого сделал, чтобы меня сначала превратили в ничто, а потом вернули к жизни? Я ведь столько мог сделать, я ведь так начинал, я мог написать такую книгу. А так и не поднялся выше рядового преподавателя. Какое изощренное издевательство совершил я над собой, став проводником марксистско-ленинской философии. Еще и радовался, что так удачно все обернулось. Все-то мы крепки задним умом. А все дело в том, что никому я уже не был нужен: ни тем, кто держал в неволе, ни тем, кто правил на воле. Использовали, сломали и выбросили. Никому, кроме жены и сына. Оттого и бежал из города в город, хотя никто и не гнал. Но все казалось, вспомнят, привлекут. Хотя, может быть, только тем и спасся, что вовремя исчез из-под бдительного ока, едва пред-

ставилась возможность исправить документы. Пришлось покрутиться, прежде чем переписал себя на фамилию жены.

Много лет спустя, почувствовав себя в безопасности, Павел Иванович осторожно навел справки о судьбе своих мучители. Долго ничего не удавалось узнать, но и тут помог счастливый случай – встретил выжившего политзаключенного, осужденного в Иркутске. Он раньше его взялся разыскивать документы тех лет и сумел добыть выписку из определения военной коллегии Верховного суда, которая провела дополнительное расследование по делам, вершимым в управлении НКВД. Так страстно все эти годы он желал услышать о справедливом возмездии, а прочел документ со странным равнодушием. Лишь в первую минуту перехватило дыхание. Словно заранее все знал, но вот только сейчас получил письменное удостоверение случившегося. О том, что следствие работниками проводилось с грубейшими нарушениями законности, к арестованным в массовом порядке применялись меры физического воздействия, что в тюрьме НКВД содержалось несколько провокаторов. А допрошенные в 39-м году бывшие работники УНКВД Котин и Рогожин показывали, что во время допросов арестованных постоянно избивали. Сам бывший начальник УНКВД Лупекин сознался, что, когда на одном из допросов Коршунов, второй секретарь обкома партии, категорически отказался от всех своих показаний, из него выбили признание. Лупекин и Рогожин были приговорены к высшей мере наказания «за фальсификацию уголовных дел и необоснованные аресты». Узнал, что в начале 40-х годов осудили и других его мучителей, выполнявших преступные приказы начальников. Перечитав документ, Павел Иванович не испытал чувства облегчения. Слишком много времени прошло, слишком старательно затер он в памяти те горькие годы.

Но эти воспоминания уже вытесняли другие, отбрасывая назад по времени. Вдруг пробудились звуки духового оркестра, веселые выкрики и нестройное пение. Первомайским утром люди шли на демонстрацию, и колонны проходили совсем рядом с внутренней тюрьмой, во дворе которой день и ночь стучал двигатель трактора. И вновь, будто тогда, ужалила его безысходная тоска – оказывается, там, на воле, мир не перевернулся, и праздники не кончились, и так же веселились и дышали полной грудью люди. Но без него, без всех них, кто томился вместе с ним в камере. А те, кто шагал мимо мрачных стен, знать не знали, что параллельно протекает совсем другая жизнь: безысходная и жуткая. Сокамерники, почти все люди партийные, по очереди дотягивались до оконца, забранного решеткой и, хотя кроме клочка неба ничего увидеть не могли, тоже хотели приобщиться празднику. Святая наивность! Полагали, что еще все обойдется, и если не Первомай, то уж ноябрьские праздники точно встретят со своими товарищами. Так и стояли, по стойке смирно, будто перед трибуной, пока с верхних нар не раздался густой бас попа Филарета: «К Сатане тянетесь! Демоны гонят на демонстрацию чад божьих!» Шикнули на него разом, заставили замолчать. Да и то, что с него взять: служитель культа, непримиримый враг народа и власти. Уверен был тогда Павел, что из всех арестантов этот сельский священник был посажен в тюрьму уж точно за дело. Но вот именно его слова запомнились: «Отринули Бога и затопила землю бесовщина...».

Вспомнил и другое, как подслушанная демонстрация придала партийцам силу духа, породила новые надежды. И тогда старый большевик Федор Матвеевич Тиунов, вспомнив свое каторжное прошлое, предложил написать письмо самому Сталину. Всколыхнулась вся камера. Писали кровью на лоскуте исподнего, волнуясь, подгоняя слово к слову – честно, правдиво и без обиды на советскую власть. Готовое письмо закатали в кусок вязкого хлеба и на прогулке перекинули за стену. И долго еще верили, что кто-то обнаружил его, передал адресату, а уж тот, самый-самый, защитит и восстановит справедливость.

– Дурачье, – прошипел сквозь зубы Павел Иванович, – безмозглое дурачье, вообразившее себя хозяевами жизни. Сожрала этот ком бродячая собака и не подавилась, а если и нет, все равно не дошло бы письмо до властителя. Кто был ничем, тот станет всем, – искривил он губы. И с запозданием в полвека понял, что прав был Балин, а не он, самодовольно уверенный,

что правда на его стороне. Ведь сколько раз подсмеивался над Александром, полагая, что тот отсебятину порет, так, для красного словца.

– Можно обманывать какое-то время весь народ, можно все время обманывать одного человека, но нельзя всегда обманывать всех, – как-то мучительно трудно повторил Александр эту фразу.

Глава 6

...И вновь шелестел ветер жесткими опавшими листьями по ночной улице. И будто опять прохватило его ледяным ветерком.

– Смотрю я на тебя, Паша, и все думаю: чего-то ты боишься? – потирая озябшие руки, сказал Александр и незнамо как заглянул в самую душу.

– С чего ты взял? – опешил Павел. – Ничего я не боюсь.

Но, помолчав добавил:

– Время какое неуютное, ты разве не чувствуешь, что происходит что-то страшное, темное, и, вроде, безотносительно ко мне или тебе, а задевает...

– А ты так и не понял, что вместе с партбилетом тебе вручили страх, и даже когда ты его вернул, этот страх в тебе остался... Ленина любили без тени страха, Сталина бояться без тени любви, – и добавил вовсе загадочную фразу: – Грузин одолел Палестину!

И вновь шуршали под ногами листья, и промозглая тьма гуще охватывала их две одинокие фигуры. Павлу после выпитого лень было говорить, лень думать. Пытался было отмолчаться, как не раз было, зная, что Александра в таком состоянии лучше не подначивать, но тот своими откровенными не в меру мыслями заставлял отвечать. Видно, крепко задел его разговор в «Виннице», и зачем только он его так неловко затеял?

– Нет, ты вдумайся в их утверждение, что у нас появилась великая советская литература. Ни с того ни с сего, из ничего, можно сказать. Решили – постановили, начертали резолюцию и нате вам – создали! А как прикажете быть со всей великой русской литературой? Нельзя же вот так с бухты-барахты выдумать какую-то особенную. Пусть она хуже, гаже и, что самое страшное – насквозь лживая, но своя! И невдомек неучам, что для того, чтобы хоть приблизиться к уже достигнутому до них, мало просто выбраться из своей пролетарской шкуры и овладеть всеми знаниями человечества, – похоже передразнил он вождя революции.

У Павла от таких его шуточек внутри все съеживалось, хотя и вида не подавал, что не по нутру ему такие заявления. Не хотелось лишних неприятностей. И без того понимал, много лишнего говорят они в своих застольных разговорах. Нет чтобы поостеречься – и за меньшее людей тягают в кутузки, пострашнее царских. Но и трусом боялся выставиться, не хотел потерять расположение Балина, и волей-неволей приходилось подыгрывать товарищу.

– Да ладно тебе, развоевался, ничего ни от тебя, ни от меня не зависит. Сказано же – партия так решила, у нее своя политика. Не чета нам люди на самом наверху принимают решения...

– Да какая к черту политика, – завелся Александр. – Что ты понимаешь! Мне до всей вашей политики... Вот ты, Паша, и писатель пока вовсе никакой и станешь им когда неизвестно...

– Да уж поболее тебя написал и напечатал, – обиженно прервал его Павел, хотя давно уже дал зарок не обижаться на приятеля – тот всегда так – пошумит, наговорит кучу гадостей, а после покается да еще бутылку поставит.

– Сдается мне, что и ты решил сделаться писателем, как другие, по приказу партии. А я сначала думал – родственная душа. И таких, как ты, наберется целая артель. А литература, она приголубит того, у кого душа есть и сердце болит. Но как за нас взялись круто, как крепко ухватили. Сдается мне, надолго это, мне уж точно не выкрутиться из цепких лап. В общем, мы

рождены, чтоб сказку сделать былью. Да, не былью – болью! Все эти наши новые вожди выбрасывают лозунги лишь с одной, чисто агитационной целью, нисколько в них не веря. Им надо у власти удержаться, народ сладкими посулами завлечь. Да ты посмотри на тех же рабочих, среди которых немало коммунистов. Да большинство из них еще более безыдейны и беспринципны, чем обычный люд. Все их мысли выются вокруг пайки иль зарплаты, которую получают, а не зарабатывают. Для меня одно непонятно, как за столь короткое время можно отбить охоту к труду.

– Скажешь тоже, а энтузиазм, а роль народных масс в истории? Ты что, ни разу труды Ленина не раскрывал?

– Какие массы, какая роль! Совсем офонарел! Народ превратили в толпу, глупое стадо, в злую ораву, создающую и разбивающую богов...

– Прекрати!.. – оборвал его Павел. – Пора избавиться от буржуазных предрассудков. За нас уже все продумано, придумано, читай документы партии и все...

– Знаю я все эти очередные задачи партии – приручить беспартийных литераторов. Чтобы писали и мыслили по заказу. А я свои убеждения хранил и буду хранить и никогда не подменю поэзию дешевой агитацией за эту власть!

– Да ладно тебе, Саша, – спохватился Павел, – станем мы с тобой из-за политики ссориться. Может, и впрямь к нашему партизану завернем!

– Не пойду, не могу, Петров хоть и выделяется из всей нашей братии, есть в нем какой-то дремучий талант, расхристанный, правда, а говорить мне с ним не о чем, не отпускает его комиссарство. Надо же, как накрепко засели в нем дурацкие идеи. Умный мужик, а никак не поймет, что сожрут они его, как человека и как писателя. А ведь как привлекательно все подано, как иезуитски просчитано – кухарка будет теперь не горшками управлять, а государством. И ее уже допустили, правда, она не знает, что бал правят другие. А кухарка лишь присутствует на этом празднике жизни. Не понять ей в силу темноты ее природной всей грандиозности этого обмана. Что дом основательно запущен, и некому в нем убирать, стряпать, детей растить. Живем на одном голом энтузиазме, взвинченном кучкой людей, кому работать не с руки, а вот мобилизовать народ истошными лозунгами ничего не стоит. Что происходит? Устал задавать я себе этот вопрос. А никто и не ответит на него. Кто хоть что-то соображает, молчит и правильно делает, может и уцелеет. Хотя вряд ли, тож пойдут под нож, раз пошла такая кровавая потеха. Чую я, от этого Молоха малой кровью не откупишься, он жрет, жрет и все нажраться не может. Оголтелость какая во всем. А не поддавайся на сладкие посулы!

– Не сносить нам головы, услышь кто наши разговоры, – не выдержал Павел. Одинокий прохожий мелькнул меж домами и пропал, а инстинкт самосохранения сработал.

– Двинем лучше ко мне, все спокойнее, можно, конечно, к Гольдбергу завернуть, да не след. Поздно, у него дети малые и водки не нальют, – внезапно остыл Александр, и голос его стал приобретать прежнюю бархатистость.

Дом Гольдберга стоял на одной улице с Петровым. С женой и двумя детьми он занимал квартиру на втором этаже деревянного особнячка. До этих лихих времен они запросто бывали здесь, вели умные разговоры за чашкой чая – пить водку здесь было не принято.

Проходя мимо уютно светящихся окон, Павел живо представил уютную столовую с круглым столом, посередине которого всегда водружался огромный никелированный самовар, тесно сдвигались венские стулья и начиналось чаепитие. Вдоль стены тянулся стеллаж с книгами, в углу стоял небольшой столик с пишущей машинкой «Эрика». Но особенно нравилось ему необычайно тонкой работы трюмо: двухметровое зеркало было забрано в резную красного дерева раму с затейливо выточенными колоннами по бокам. Что и говорить, умеют же люди при любой жизни устраивать себе сносное существование. И вздохнул, вспомнив, как неудачно они погостили у Гольдбергов последний раз. Нет, определенно с Балиным что-то случилось, его будто сорвало с якорей. Чем опаснее становилось встречаться и вести разговоры, тем без-

рассуднее Александр ввязывался в политические споры, тем откровеннее отстаивал свою точку зрения, не стесняясь в выражениях. Так отчаянно ведут себя немногие люди, загнанные в угол и уставшие обороняться, тем более от невидимого врага. Тут Балин был прав – в таком состоянии духа заходить к Гольдбергам было просто опасно, тем более, что уже началась пока еще непонятная возня вокруг самого Исаака – в последнее время он сник, в глазах появилась настояженность. Да и немудрено, слишком уж он был на виду, слишком много имел дел с партийной знатью, всем известно было и его эсеровское прошлое.

А в тот летний вечер, когда вполне мирное дружеское чаепитие подходило к концу и можно было уже откланяться, Балин вдруг зацепился за высказывание Гольдберга о величии технических достижений человечества. Порывисто поднялся и, расхаживая по застеленному ковром полу, начал говорить, развернув разговор в иную жесткую плоскость. Пожалуй, тогда вот впервые Павел удивился его, как показалось тогда, неуместной горячности и резкости суждений, но не придал тому значения.

– Наивно полагать, что люди, совершенствуя орудия убийства, не преследуют единственную цель – уничтожить человека быстрее, легче и безопаснее для себя. Хотя одно это уже само по себе чудовищно и аморально. А все для того, чтобы не выпачкаться в крови. Обыкновенному воюющему человеку, за исключением кучки мерзавцев, имеющих место быть в любом времени и любой цивилизации, убийство себе подобных не может не внушать отвращения. Пусть даже тщательно замаскированное под удалство и героизм и жажду ненависти. Не в том ли секрет «мастерской» орудий убийства? Достаточно проследить историю их развития. Сначала швыряли камень, потом посылали стрелу, затем пулю. Человек все более отдалялся от своей жертвы и все более распоясывался. Согласитесь, что убитый тобой в рукопашной выглядит пугающее, чем сраженный тобой на расстоянии. Отчасти то подтверждают самоубийственные войны, пожирающие все больше и больше человеческой плоти. А уж о нашей революции и говорить не приходится. Ведь даже пырнуть ножом – не то, что душить руками. Не случайно зачастую преступники так оправдываются: «Это нож сделал, сам выскочил, как, я и не понял, да пырнул, а не хотел». Если кому-то надобно свидетельство порочности и губительности цивилизации вообще, найти ли лучше? – Александр прервал свой монолог, обвел взглядом примолкших собеседников и тихим голосом закончил:

– Технически мы рвемся вперед и не безуспешно, а нравственно все более отстаем. Не оттого ли растет число самоубийств? Свей-ка веревку да намыль, да выбери сук покрепче, да примерься, пока все это сделаешь – ветер выдует остатки дури и мужества. А тут ударила кровь, вставил патрон в красиво сделанную железную игрушку и испугаться не успел. Так вот, все, что сегодня с нами происходит есть одно сплошное самоубийство... Я много размышлял обо всем этом, а теперь могу со всей ответственностью заявить всем вам, что мой медленный творческий путь обеспечивается наличием советской власти, которая не дает возможности идти по тому пути, что я выбрал до революции, – вовсе уж неожиданно закончил он.

– Тут ты, Александр, не прав, – задумчиво сказал Исаак, – может быть, все дело в том, что ты далек от действительности. Как говорит Сталин, всякий, кто пишет правду, уже стоит на позициях социализма.

– Вот-вот, это и есть лучшее подтверждение тому, что никакого социалистического реализма нет и быть не может, а если вы не согласны со мной – попробуйте, напишите правду.

С тех пор распалась их тесная компания, и уже больше никогда не собирались они вместе в уютном доме Гольдберга, до самого его ареста.

...Быстрым шагом пересекли они пустынную Тихвинскую площадь, вышли на Пролетарскую, где проживал Балин, но по пути не обошли коммерческий магазин, разорились на бутылку водки. Запомнилось Павлу, что это был их последний откровенный разговор, который он помнил отрывочно, но вынужден был после усиленно вспоминать.

– Нам упорно навязывают счастливую свободную жизнь, – хмельно говорил Александр уже далеко за полночь. – Не надо. Дайте нам просто дышать, свободно мыслить, а о своей жизни мы сами позаботимся. Счастливая жизнь заключается не во всеобщей зажиточности... Девятнадцать лет мы только и говорим о счастье. В чем он, коммунистический рай? Всем всего поровну? А как быть, если я не хочу столько, мне поменьше надо или побольше? Меня тут в расчет не принимают, я никто...

– Ну, Александр, ты и скажешь. Счастья не может быть много, – упорно пытался избежать политических, скучных для него разговоров Павел.

– А высший идеал человечества – это свободное общество, где совесть свободна, как поступки каждой личности... – гнул свое Александр.

– Ну, это ты своего Штиммлера начитался, теоретика анархизма! – бросил Павел взгляд на полку с книгами.

У Балина для нынешних суровых времен была любопытная библиотека. Рядом с книгой Бухарина «Этюды», например, стоял томик Жан Гава «Правда без прикрас», соседствуя с работой Лившица «О взглядах Маркса на искусство».

Но тот будто не слышал его замечаний и продолжал гнуть свое. Павлу порой казалось, что он сознательно загоняет себя в угол, критикуя власть. Это было его личное дело, плохо было другое – он совершенно не думал о других, с кем он откровенно делился своими взглядами.

– Устал читать газеты, где в каждом номере описывают процессы над врагами народа. Устал. И думаю, что расправы, творимые советской властью, над так называемыми контрреволюционерами, несправедливы. Вот только бы знать, кому и зачем это надо. Смыывают свои грехи чужой кровью, боятся расплаты за совершенное или что-то еще? Ты посмотри, какие заслуги перед революцией имели Зиновьев и Каменев, а Троцкий? И что? Процесс над троцкистско-зиновьевской бандой! Как обозначили своих бывших товарищей по партии и борьбе – банда. А как их самих назовут после? Погоди-ка, я же тебе обещал показать статью Пуришкевича, в которой он обращался из действующей армии к господам большевикам еще в апреле 1917 года, – вспомнил он, порылся в ящиках письменного стола и вынул пожелтевшую газетную вырезку. Слушай, тут много что дельного написано, но я тебе зачитаю один абзац. «Но не уполномоченные и родом Русским в деле его Государственного строительства, лишённые опыта, не смеют касаться скрижалей обновленного Русского Государственного корабля. Вы не народ – один из классов своего народа, и, посягая на решение задач Государственных, вы совершаете величайшее преступление против России, которое не простит вам дерзновенных покушений на захват кормила власти и раньше или позже сметет вас с тех горных мест, куда вы дерзновенно и святотатственно забрались. Назовитесь наконец, кто вы такие. Дайте ответ России, кто вас призвал к власти, какова ваша профессия. Кто уполномочил вас, наконец, говорить от имени народа и истолковывать его желания. Великое государство, будет оно монархией или республикой, не может управляться псевдонимами...»

Павел поразился раскованности мысли, страстности слога Пуришкевича, без боязни обращавшегося к своим политическим врагам, уже тогда набравшим немалую силу, но еще более – своей мысли, что сейчас о подобном и помыслить невозможно, а исполнить – подписать себе смертный приговор.

– Как долго будет продолжаться это смертоубийство, ну, не пауки же они в банке! Но сдается мне, предстоят процессы, которые будут еще более ужасны и несправедливы. И на то указывает, что выносятся слишком много высших мер наказания. А смертные казни всегда-то вызвали у русских людей сочувствие. Потому как изначально приняли они сердцем, что только Бог может распоряжаться человеческой жизнью.

– Если партия не доведет дело социалистической революции до конца, – язык Павла слушался с трудом, – это будет величайшее преступление перед человечеством. Что же касается расправы над теми, кто оказался на пути революции – на то есть закон. Нарушение которого

такое же преступление для тех, кто ведет страну за собой. Тут надо говорить не об отдельном человеке, не о кучке людей, которые сами выбрали свой путь, а о всем народе и той сложной обстановке, в которой находится вся наша страна – это заставляет власть быть беспощадной.

– Ты, Паша, забыл, что у меня в гостях, а не на большевистском митинге, – вскипел Александр. – И ты не комиссар, а я не быдло, чтобы меня агитировать. Я был политически неграмотный, им и останусь. Но запомни, что вся наша революция закончится Наполеоном.

С того дня покатила их жизнь под уклон. И все, о чем так бесстрашно рассуждал Александр, им пришлось испытать на своей шкуре.

Павел Иванович не сразу пришел в себя, несколько минут слепо вглядывался в темный квадрат окна, но так и не сумел вернуться к действительности.

«Все это я считал и считаю нужным довести до сведения партийной организации. Не думаю, чтобы Александр Иванович был настоящим контрреволюционером, но несомненно какой-то процесс в сторону контрреволюции есть. Именно об этом я уже сигнализировал в конце января, – четко всплыла в памяти формулировка, которой он так изящно закончил одно из заявлений. – Вот то, что и о чем я хотел информировать партийную организацию и, мне кажется, когда мы говорим о бдительности, каждый из нас не должен ее воспринимать как нечто вроде заклинания. Тем более что для проявления особой бдительности у нас основания есть, даже и в том случае, когда эта бдительность должна быть проявлена в отношении меня самого». Павел Иванович успел еще подумать, что лишился здравого ума, как жестокая память выказала комнату, залитую солнечным светом, письменный стол, за которым, макая тонкое перышко в черные чернила, торопливо писал: «5 мая, днем, ко мне на квартиру пришел В. Ковалев. Судя по его вопросам, он пришел узнать подробности последних событий в ССП. В разговоре, относительно ареста Гольдберга, Петрова и других, он сказал что все это не является для него неожиданностью и что этого нужно было ожидать давно. При этом он привел несколько примеров, подтверждающих его мысли. В частности, говоря о настроениях Балина он сказал, что его взгляды (политические) не являются новыми в смысле их появления. Наоборот: три года назад они были ничуть не лучше, чем теперь, и еще тогда Балин высказывал такие точки зрения, которые иначе как контрреволюционными назвать нельзя. При этом Ковалев доказывал, что Балин всегда ловко маскировался и что в действительности он совсем не такой человек, каким многим из нас казался. Особенно это проявлялось в его взглядах на советскую литературу, которая, по его мнению, просто далека от того, чтоб называться литературой. Вообще говоря, по мнению Ковалева, политические взгляды Балина – это не случайные сомнения и колебания, – это определенно законченная система, основная идея которой заключается в реставрации капитализма. И в этом смысле Балин был далеко не невинным агнцем. Сопоставляя сказанное Ковалевым с тем, что было известно мне, – я считаю, что у него есть основания говорить именно так, тем более что доказательств по его словам вполне достаточно.

В отношении Андреева Ковалев утверждает, что этот человек является законченным фашистом не только по убеждениям, но и по своим связям. Он приводит такой пример: “Когда Ковалев сидел в тюрьме, с ним в одной камере сидел фашист Машуков (если не ошибаюсь). Этот фашист уже примирился с тем, что его песня спета и в камере рисовал картины предстоящего разгрома СССР Японией. (Десант на север, где есть готовая армия из ссыльных, наступление со стороны тыла и т. д.)”. Любопытно то, что точно такое же описание будущей войны (до мельчайших подробностей схоже) задолго до ареста Ковалев слышал от Андреева. Это прежде всего наводит на мысль о связи Андреева с фашистами, от которых он мог узнать подобные планы. Далее Андреев выступал не один раз с теорией великих народов и народов рабов. Также неоднократно проповедовал расовую теорию в понимании ее, конечно, русскими фашистами. Все это уже давно дало право считать Андреева настоящим фашистом. По утверждению Ковалева, Андреев занимался соответствующей обработкой тех, кто так или иначе казался ему обиженным и недовольным.

Об Ольхоне. Этот человек, прикидываясь советским писателем, втихомолку кой-где читает свои контрреволюционные поэмы: “Тридцатый год” и “Веселые мертвецы”. Кроме того, читает стихи под заглавием: «Прощание матери с сыном-политическим заключенным на Лубянке».

Лично я этих стихотворений не слыхал, но знаю, что они существуют. Ковалев утверждает, что Ольхон их читал неоднократно. Если сопоставить близость Ольхона и Андреева и соответствующие настроения обоих, то невольно возникает подозрение о большем, чем случайные разговоры. Во всяком случае поведение Ольхона дает право так думать...

И в заключение неожиданное: Ковалев утверждает и берется это доказать, что он в течение двух лет три раза ставил вопрос перед Молчановым о “настроениях” Андреева и Балина. Он уверяет, что Молчанов почему-то счел нужным все это замолчать и даже после этого изменить свое отношение к Ковалеву.

Это совсем непонятно, хотя если говорить по совести, неправдоподобного тут нет.

Все это я говорю для того, чтобы насколько возможно облегчить расследование тех фактов, которые у нас есть.

Разговор с Ковалевым носил разбросанный характер – поэтому мне трудно передать его связно. Думаю что самое лучшее будет, если вы или соответствующие органы сами поговорите с Ковалевым. Я ему возражал. Думаю, что при известной направленности разговора Ковалев может сказать значительно больше, чем сказал мне.

8 мая 37 г. Пав. Листов».

И так явственно встал перед глазами документ, такой дьявольщиной повеяло от этой мелко исписанной бумаги, что Павел Иванович зажмурился, стряхивая наваждение. Нет, не может быть, чтобы я это написал. «Написал, написал, ты еще и не то бы написал, если бы попросили!» – произнес все тот же чужой голос. Это была сушая правда, и он едва не воскликнул: «Не попросили, заставили!». Но перемог себя, привычно перекладывая вину на других.

Переживание было столь сильным, что в голове будто опустилась заслонка, и сколько продолжалось беспамятство, он не знал, но когда оно прошло, обнаружил, что вслух разговаривает с Балиным. Тот втолковывал ему однажды уже сказанное: «Грешен человек. И нет человека без пороков. Чист один Господь. Но если каждый из нас станет стремиться хотя бы приблизиться к Нему, не обречено ли человечество на вечное исполнение своих заветных чаяний? Так, вот, Павел, едва я так подумал, как в полной тишине и одиночестве сказал мне голос – Бог не даст».

Павел Иванович с трудом поднялся с кровати, шаркая разношенными тапочками, прошел на кухню и, морщась, выпил стакан холодного чая, безвкусного, будто запаренного из банного веника. Деньги у него были, пенсию получал исправно, но в магазин уже не выбирался, просил соседку прикупить продуктов. Судя по тому, что она ему приносила по талонам, которые выдавали даже на мыло и табак, жизнь наступила совсем бедная. Словно еще одна гражданская война прокатилась по стране. Напившись чаю, Павел Иванович задумался – что-то хотел он сделать, но пока доковылял до кухни – из головы вон. Долго тер виски руками, пока не вспомнил – газетную вырезку искал. Он давно уже не выписывал газеты, а тут будто кто специально подsunул – с недавних пор по почтовым ящикам их бесплатно раскладывали. Просматривая одну из них, он наткнулся на статью столичного журналиста об иркутских писателях, погибших в годы репрессии. Вот-вот – слабо встрепенулось в груди – с тех пор и начали одолевать его эти воспоминания. Статья Павлу Ивановичу сначала не понравилась, откуда было человеку, далекому от того времени и тех событий, знать, как и что было на самом деле. Раздражал неременный для таких писак апломб и безапелляционность утверждений, что арестовали их по доносам товарищей. Он, единственный свидетель и участник тех событий, твердо знал, что это было не так. Но тут же перестал сердиться, рассудив, что статья, в которой о нем даже не упоминалось, ему только на руку. Пусть чохом отвечает все писательское братство, вычерк-

нувшее его из людской памяти. Никогда не вспоминали о нем иркутские литературоведы, даже строчкой, что был вот такой писатель – Павел Листов. Правда, тогда он печатался под другой фамилией, отличной от той, что носил теперь.

Глава 7

Нет, что-то странное, не испытанное ранее происходило с ним в эту ночь. Разве что поджилки не тряслись. Провалы в памяти следовали один за другим. Очнулся Павел Иванович уже в своей спальне. Сидя на кровати, он невидящими глазами смотрел на газетную вырезку. Наверное, все-таки полугодовая отсидка в тюрьме не прошла даром. Или старческое слабоумие пришло? Нет же, еще раньше в нем проявились нелепые на первый взгляд поступки – к примеру, не мог сходить на демонстрацию. Недоумевал поначалу, затем ругал себя последними словами, загодя подготавливал себя к празднику, а наставал день шествия, увиливал, как мог. Нет, как положено лояльному гражданину, в точно назначенный утренний час объявлялся вместе со всеми сослуживцами у института. Толкался в шумной толпе, нагруженной транспарантами, портретами вождей, знаменами и пучками бумажных цветов, напоминающих кладбищенские. Даже выпивал обязательную рюмку-другую. Но едва колонна выстраивалась и начинала медленное осатанелое кружение по улицам и площадям, постепенно приближаясь к заветной трибуне, незаметно отставал. Как бы ненароком выскальзывал из людского гомонящего потока, прижимался к стене одного и того же здания, нырял в узкий переулок и уходил задворками. Негодуя на свое малодушие и испытывая чувство облегчения одновременно.

Уходил, правда, недалеко. Опасался, что могут хватиться сослуживцы. И уже сторонним наблюдателем посматривал, как ползет, извивается пестрое многолюдное шествие, заполняет площадь, взрывается многоголосым ором. После задворками пробирался к перекрестку, откуда толпа начинала растекаться по городу ручейками. Незаметно пристраивался к сослуживцам. Молча шел какое-то время, постепенно приобретая личину праздничного человека. И напоминал о себе, лишь когда их возбужденные лица начинали отмякать, становиться похожими на прежние. Тогда подхватывал тяжелый транспарант или брался за древко знамени. Принимался шутить, громко смеяться, на ходу договариваться, где продолжить празднество. И никто, никогда, ни разу не спохватился – а где же собственно был он все это время. Павел Иванович хорошо знал, что легче всего затеряться в толпе, где все люди, сбитые в кучу, кажется, становятся на одно лицо.

Павел Иванович смял в комок газетный лист, хотел швырнуть его в угол и не смог, силы оставили. Страх вымотал.

– Предали, все Сашу предали, – сказал он горестно. – До и после. А особенно после.

«Ты и предал, – тут же возник все тот же, похожий на его собственный, молодой, голос, – больше всех постарался».

Павел Иванович уехал из Иркутска сразу, как только ему позволили. Сначала в родной украинский город, потом в другой, третий, пока вовсе не затерялись его следы. Но где бы ни жил, пристально следил за литературной жизнью, больше по привычке, не теша себя мыслями когда-нибудь вновь взяться за перо. И однажды, где-то в середине 60-х годов, вычитал в толстом журнале, что в Иркутске вышел сборник стихов Александра Балина «Возвращение». Долго колебался, но все же решился, отправил в издательство письмо с просьбой выслать ему эту книгу и денег послал. А вскоре получил небольшую бандероль, куда чья-то заботливая рука вложила еще и несколько рецензий на творчество поэта.

– Где-то он у меня тут, недалече, – сказал себе Павел Иванович, включил ночник и потянулся к книжной полке. Ночь глубока, а душевная рана еще глубже. С трудом, но нашел книжицу с вложенными между страниц рецензиями. Открыл наугад и, надев очки, стал читать, медленно перебирая губами каждое слово:

Кто скажет мне, быть может, я в аду.
Вот тьма крошечная разверзлась предо мною...
Но к цели избранной я ощупью иду,
Как те слепцы дорогою земною...

Ознобом прохватило спину, в комнате будто зазвучал сочный живой язык Александра. Строчки били в самое сердце, так же, когда он впервые услышал эти стихи на его квартире. Уже тогда поражаясь, что написаны они были в Барнауле, кажется году в 1919, а опубликованы еще во времена правления Колчака.

Что пробираются одни, без водыря,
Направив трость во тьму перед собою,
Одним желанием настойчивым горя —
К привалу добрести вечернюю порою.

Прочитал и вытер скупую слезу с холодной щеки — эх, Саша, Саша, голубь ты мой, за что так судьба была к тебе не милостива. А пальцы уже перебирали страницы рецензии, в которой красным карандашом были подчеркнуты строки о том, что «на поэтическое творчество Александра Балина исключительно плодотворное влияние оказали советская действительность и революционные преобразования в стране».

— Да уж, плодотворнее некуда, — усмехнулся Павел Иванович. — Тридцать лет после его смерти прошло, а издеваться над ним не перестали.

И бережно погладил обложку книжицы — могли и его произведения вот так до сих пор издавать. Не вышло. Да он уж почти и забыл о них — растерял публикации в журналах, последние экземпляры своей первой книжки, а рукописи, взятые обыском, нечего было думать затребовать назад. Вычеркнул из жизни писательство, будто его и не было. Как это ему удалось сделать, через что переступить, знал только он один. Тогда все его поступки диктовал острый, не проходящий день и ночь страх, и в нем же было его спасение.

Из книги выпал и лег на колени листок, сложенный вдвое. Павел Иванович неторопливо развернул его, и это оказалась еще одна рецензия.

«Он был глубоко русский человек, у него была широкая, открытая добру и свету, исконно русская душа. И как же он любил, понимал, берег, таил в себе родниковую русскую речь, ее певучесть и народную сокровенную силу, меткость, запашистость, ядренность и складность, да еще задористость».

— Поздно тебя оценили, Саша, — вздохнул он по погибшему другу, напрочь забывая, какая вина мучила его. На минуту стало жаль себя, что вот никто и никогда не напишет о нем таких проникновенных слов, не вспомнит добрым словом. Как и тысячи других преподавателей марксистско-ленинской философии. И для него это было иезуитское наказание за введение в материалистическую тьму миллионов умов, смятение и мракобесие. За все, чем обернулась умело вброшенная на русскую землю идея — облагодетельствовать сразу все человечество. Кровью умылась страна, а на крови не построить царство небесное. Не его были мысли, всплывали в голове противно желанию, и он боялся их панически, зараженный испугом на всю свою жизнь.

«Читать, читать, только не думать черные мысли», — лихорадочно работал его вовсе не старческий ум.

На рассвете чуть дрогнул за решеткою мрак,
До зари семерых разбудили,

Повели под конвоем в соседний овраг —
Семерых к раскрытой могиле.
Шли березовой рощей, чуть брезжил рассвет —
Не для них это солнце всходило,
Сколько скрылось ночей, сколько дней, сколько лет
Скрылось в братской холодной могиле...

И это стихотворение знал Павел Иванович, Александр написал его лет за пять до гибели в тюремных подвалах. Но для того, чтобы его поместить в журнале, пришлось соглашаться с редакторской правкой – так оно и вышло под заглавием «Братская могила – памяти бойцов за Октябрь». А он будто предчувствовал свою судьбу и судьбы многих тысяч соотечественников.

«Можно было бы согласиться с тем, что всех несущих и творящих зло неминуемо оно и настигнет, уже на генетическом уровне они несут в себе это наказание. Это ли не возмездие. Если бы из всего этого закономерно не вытекало: так что же, преступление не изживаемо в принципе? И нельзя вырваться из этого замкнутого круга: зло – преступление – наказание?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.